

Николай Лесков

Островитяне



Николай Семёнович Лесков

Островитяне

*Текст предоставлен правообладателем
Островитяне: 1866*

Аннотация

«...Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их – над крышей или за цоколем – это оставалось его секретом, потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя...»

Содержание

Глава первая	12
Глава вторая	17
Глава третья	21
Глава четвертая	35
Глава пятая	46
Глава шестая	56
Глава седьмая	83
Глава восьмая	109
Глава девятая	130
Глава десятая	137
Глава одиннадцатая	151
Глава двенадцатая	177
Глава тринадцатая	181
Глава четырнадцатая	189
Глава пятнадцатая	201
Глава шестнадцатая	209
Глава семнадцатая	221
Глава восемнадцатая	232
Глава девятнадцатая	236
Глава двадцатая	250
Глава двадцать первая	255
Глава двадцать вторая	277
Глава двадцать третья	292

Глава двадцать четвертая	299
Глава двадцать пятая	307
Глава двадцать шестая	311
Глава двадцать седьмая	318

Николай Лесков

Островитяне

*Овцы царя Авгиаса не вместе, в стадах
разделенных, —*

*В кругах разных пасутся; одни по долинам
Вдоль берегов Элизента, другие у вод
освященных*

*Старца Алфея, иные по злачным Бупроза
вершинам,*

*Прочие в здешних окрестностях. Каждое
стадо*

*Вечером с пастбищ собрать нам в
овчарни отдельные надо.*

Идиллия Феокрита.

Очень давно когда-то всего на несколько минут я встретил одно весьма жалкое существо, которое потом беспрестанно мне припоминалось в течение всей моей жизни и теперь как живое стоит перед моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посиневшая от мокроты и стужи девочка на высоких ходулях. В тот день, когда я увидел этого ребенка, в Петербурге ждали наводнения; с моря сердито свистал порывистый ветер и носил по улицам целые облака холодных брызг, которыми раздобывался он где-то за углом каждого дома, но где именно он собирал их — над крышей или за цоколем — это оставалось его секретом,

потому что с черного неба не падало ни одной капли дождя. В этот ненастный, холодный день она вышла на грязный мощеный двор из-под черной арки ворот в сопровождении еще более ее изнеможенного итальянского жида, который находился с нею в товариществе по добыванию хлеба, и в сопровождении целой толпы зевак, с утра бродивших для наблюдения, как выступают из берегов Лиговка, Мойка и Фонтанка. Бледный, чахоточный жид, сгибаясь в три погибели, нес покрытую клеенчатым чехлом шарманку; праздные люди гордо несли на своих лицах спокойную тупость бессмыслия. Девочка на ходулях была самым замечательным лицом во всей этой компании и с помощью своих ходуль возвышалась наглядным образом надо всеми. По силе производимого ею впечатления с нею не мог соперничать даже ее товарищ, хотя это был экземпляр, носивший, кроме шарманки, чахотку в груди и следы всех страданий, которыми несчастнейший из жидов участвует с банкиром Ротшильдом в искуплении грехов падшего племени Израиля. Во-первых, девочка была богиней: на ней был фантастический наряд из перемятой кисеи и рыжего плиса; все это было украшено гирляндами коленкорových цветов, позументом и блестками; а на ее высоком белом лбу лежала блестящая медная диадема, придававшая что-то трагическое этому бледному профи-

лю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одевалась в костюм Федры. Нет сомнения, что вошедшая на ходулях девочка тоже должна была воплощать в себе понятие о каком-то трагическом величии. Она вошла твердою и спокойною поступью, и когда сопровождавший ее жид завертел свою шарманку, она запела:

В Нормандии барон,
Большой любитель псов,
Жил с деревенской простотою.

В ее голосе, которым она пропела эту рыцарскую песню, было столько же скромной твердости, сколько в ее тихом шествии на ходулях; но эта рыцарская песня не нашла сочувствия ни в ком, кроме одной слабонервной дворняжки, начавшей подвывать певице самым раздирающим голосом и успокоившейся только после пинка, отпущенного ей сострадательным прохожим.

Несравненно более общего внимания у зрителей девочка встретила тогда, когда она проплясала перед ними на ходулях какой-то импровизированный *matelot*.¹ Я видел, как при самом начале этого танца все самые тупые лица осклабились и праздные руки

¹ Матлот (франц.)

бессмысленно зашевелились, а когда девочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, в самом счастливом случае, только переломить себе ногу, публика даже начинала приходить в восторг. Из всех людей, стоявших на дворе, и из всех глазевших на эту пляску в окна лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выражение, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза жида то обходили дозором окна всех окружающих двор пяти этажей, то с ненавистью и презрением устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать из Кармана медный грош на хлеб голодному искусству.

– Если бы она плясала в длинном платье, она бы по крайней мере вымела бы мне двор, – проговорил присутствовавший в партере дворник.

Дворник сделал именно такое заключение, какое он должен сделать: «собаке снится хлеб, а рыба – рыбаку». Естественней этого ничего быть не может.

По мановению дворника прежде всех и проворнее всех поспешила исчезнуть под аркою ворот заходящая публика, наслаждавшаяся *par grâse*² всеми вокальными и хореографическими талантами девочки на ходулях; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами в просторных орбитах, потянул, изнемо-

² Бесплатно (франц.)

гая под своей шарманкой, чахоточный жид, которому девочка только что успела передать выкинутый ей за окно пятак, и затем, уже сзади всех и спокойнее всех, пошла сама девочка на ходулях. Она удалялась в том же спокойном и гордом молчании, с которым входила назад тому несколько минут на этот двор, но из глаз моих до сих пор не скрывается ее бледный спокойный лоб, ее взор гордый и профиль Рашели, этой царственной жидавки, знавшей, с нею умерший секрет трогать до глубины онемевшие для высокого чувства сердца буржуазной Европы. Память моя в своих глубочайших недрах сохранила детский облик ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещет ей, как рукоплескало в тот ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малейшего внимания ни глупым восторгам, ни дерзким насмешкам, плясала на своих высоких ходулях и ушла на них с гордым сознанием, что не даровано помазанья свыше тем, кто не почувствовал драмы в ее даровом представлении.

Я никогда ни одного слова не рассказывал о том, как приходила эта девочка и как она плясала на своих высоких ходулях, ибо во мне всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой истории ровно нет никакой истории. Но у меня есть другая история, которую я вознамерился рассказать вам, и эта-

то история такова, что когда я о ней думаю или, лучше сказать, когда я начинал думать об одном лице, замешанном в эту историю и играющем в ней столь важную роль, что без него не было бы и самой истории, я каждый раз совершенно невольно вспоминаю мою девочку на ходулях. И так как они не разлучались в голове моей и глядели на меня обе, когда я думал только об одной из них, то я не хочу разлучать их перед твоими глазами, читатель. Тебе было б жалко, как они заплакали бы, заплакали бы разлучаясь, эти милые дети.

Я лучше желаю, чтобы в твоём воображении в эту минуту пронеслось бледное спокойное личико полуребенка в парчовых лохмотьях и приготовило тебя к встрече с другим существом, которое в наш век, шагающий такой практической походкой, вошло в жизнь, не трубя перед собою, но на очень странных ходулях, и на них же и ушло с гордым спокойствием в темную, неизвестную даль.

Маничка Норк! Где бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевского острова, по какой бы далекой земле ни ступали нынче твои маленькие, слабые ножки, какое бы солнце ни грело твое хрустальное тело – всюду я шлю тебе мой душевный привет и мой поклон до земли. Всюду я шлю тебе, незлобный земной ангел, мою просьбу покорную, да простишь

ты мне, что я решаюсь рассказать людям твою сердечную повесть. Протяни мне твои маленькие прозрачные ручки; дохни на эти строки твоим чистым дыханием и поклонись из них своей грациозной головкой всему широкому миру божьему, куда случай занесет неискусный рассказ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слез, про твои горячие, пламенные восторги! И чувствует сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, из какого-то сурового далека твой благословляющий голос, вижу твою милую головку, поэтическую головку Титании, мелькающую в тени темных деревьев старого, сказочного леса Оберона, и начинаю свой рассказ о тебе, приснопамятный друг мой.

Глава первая

Я обязан представить вам героиню моей повести и некоторых лиц ее семейства. Маничка Норк была петербургская, василеостровская немка. Ее мать, Софья Карловна Норк, тоже была немка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже ее-то матушка, Мальвина Федоровна, которую лет пятнадцать уже перекатывают по комнатам на особо устроенном кресле на высоких колесах, так и она и родилась и прожила весь свой век на острове. Отца своего Маничка Норк не помнила, потому что осталась после него грудным ребенком: он умер, когда еще старшей Маниной сестре, Берте Ивановне, шел всего только шестой год от роду. Софья Карловна Норк овдовела в самых молодых годах и осталась после мужа с тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей, или Маней, о которой будет идти начинающийся рассказ. Муж Софьи Карловны, Иоган-Христиан Норк, был по ремеслу токарь, а по происхождению петербургский немец. Он был человек пунктуально верный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всеми этими качествами, Иоган-Христиан Норк за сорок лет неусыпного труда успел сколотить себе кое-какую копейку и, отходя к предкам, оставил своей вер-

ной подруге, Софии Норк, кроме трех дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебром государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведение. София Норк, схоронив мужа, не опустила ни головы, ни рук. Оплавав свою потерю, она стала думать, как ей прожить с детьми своей головою. Софья Карловна была в состоянии это обдумать, потому что у нее от природы был ясный практический смысл и она знала свое маленькое дело еще при муже. Еще и ему она была серьезною помощницею. Не говоря о том, что она была хорошей женой, хозяйкою и матерью, она умела и продавать в магазине разные изделия токарного производства; понимала толк в работе настолько, что могла принимать всякие, относящиеся до токарного дела заказы, и – мало этого – на окне их магазина на большом белом листе шляпного картона было крупными четкими буквами написано на русском и немецком языках: *здесь починяют, чистят, а также и вновь обтягивают материей всякие, дождевые и летние зонтики*. Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которым она занималась не по нужде какой крайней, а единственно по страстной любви своей к труду и из желания собственноручно положить хоть какую-нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту в свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показа-

ли, что лепта, добываемая Софьею Карловною через обтягивание материей всяких, дождевых и летних, зонтиков, совсем и не была даже такою ничтожною лептою, чтобы ее не было заметно в домашней корване; а главное-то дело, что лепта эта, как грош евангельской вдовицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Иогана-Христиана Норка при его счастливой жизни, но даже помогала ему и умереть спокойно, с упованием на бога и с надеждой на Софью Карловну.

– Софья! – говорил он, мучительно борясь со смертию, – дети... я на тебя... на тебя надеюсь...

– О, мой Иоганус! – отвечала, рыдая, Софья Карловна.

– Маньхен... – продолжал, хрипя, умирающий, – береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

– О, всех! всех, мои Иоганус! – отвечала опять Софья Карловна, и василеостровский немец Иоган-Христиан Норк так спокойно глядел в раскрывавшиеся перед ним темные врата сени смертной, что если бы вы видели его тихо меркнувшие очи и его посиневшую руку, крепко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень может быть, что вы и сами пожелали бы пред вашим походом в вечность услышать не вопль, не вой, не стоны, не многословные уверения за тех, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произне-

сенное так, как произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норк в ответ на его просьбу о детях.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умела хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшего, а для оставшихся жить всего важнее было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа после его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно так же, как и при покойнике, а на другом окне магазина, в *pendant*³ к вывеске о зонтиках, выступила другая, объявлявшая, что *здесь чистят и переделывают соломенные шляпы, а также берут в починку резиновые калоши и клеят разбитое стекло*. Прошел год, два, пять лет, – вывески эти неизменно оставались на своих местах; Софья Карловна неизменно содержала то же самое заведение и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большом проспекте. В это время дети подросли, бабушка совсем выжила из века, хотя, впрочем, все-таки по-прежнему ездила в своем колесном кресле, а Софья Карловна все трудилась, трудилась без отдыха, без сторонней помощи и вся жила в своих детях. Берта и Ида ходили в немецкую школу и утешали мать прекрасными успехами; любимица покойника, Маньхен, его крохотная «горсточка»,

³ Т. е. в пару (франц.).

как называл он этого ребенка, бегала и шумела, то с сафьянным мячиком, то с деревянным обручем, который гоняла по всем комнатам и магазину.

«О, мой Иоганус!» – думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на резвившегося ребенка.

– О, мой милый Иоганус! – говорила она вслух, ловя убегавшую Маньхен и прижимая девочку к своему увядшему плечу, откуда трудовой пот давно вытравил поцелуи истлевшего Иогануса, но с которыми, может быть, не хотела расставаться упрямая память.

Так опять шли годы. Состояние Норк, благодаря неусыпным трудам матери, не расстраивалось; фрейлейн Берта «отучилась» в школе и прямо со скамьи сделалась невестой некоего Фридриха Шульца, очень хорошего молодого человека, служившего в одной коммерческой конторе и получавшего большое содержание. Приданым за Бертой Ивановной пошли: во-первых, ее писаная красота и молодость, а во-вторых, доброе имя ее матери, судя по которой практичный Фридрих Шульц ждал найти доброе яблочко с доброго дерева. Берта его не обманула. Вторая девица Норк, Ида Ивановна, только что доучилась; а одиннадцатилетнюю Маничку только отвели в школу.

Глава вторая

В народных сказках наших часто сказывается, что из трех детей, рожденных от одних и тех же родителей, третий, самый младший, задается либо всех умнее, либо всех сильнее, либо всех счастливее и удачливей. Ходя по русской земле, зашла эта сказка и в семью покойного русского немца Иогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорят, «особенное», какое-то совсем необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; доброте и чистосердечию ее не было меры и пределов: никто в целом доме не мог припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь рассердилась или кого-нибудь чем-нибудь обидела. Все знавшие этого ребенка удивлялись на него и со страхом говорили: ох, она не будет жить на свете!

– Нет, нет и нет, – настаивала старая русская кухарка Норков, – что наша барышня, Марья Ивановна, не жилец на этом свете, так я за это голову свою дам на отсечение, что она не жилец.

Кухарке головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утешение.

Для матери и рассыпавшейся пеплом бабушки этот ребенок был идолом; сестры в ней не слышали души;

слуги любили ее до безумия; а старый подмастерье Норка, суровый Герман Верман, даже часто отказывал себе в пятой гальбе пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейн Марье хоть апельсин, хоть два пирожных, хоть, наконец, пару яблок. Одним словом, Маня была домашний идол в полном значении этого слова. Одно только в ней сызрана начало тревожить ее мать и бабушку – это какой-то странный необъяснимый для них перелом в ее характере, подготовленный, конечно, ее слишком ранним развитием и совершившийся на девятом году ее детской жизни. Перелом этот выразился тем, что неудержимая резвость и беспечная веселость Мани вдруг оставили ее, словно отлетели: легла спать вечером одна девушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полечить – ничего не помогло; добивались у нее, не видала ли она чего-нибудь необыкновенного во сне, – это стало сильно досаждать девочке, она расстроилась и заплакала. Ее оставили в покое, думая, что это она так загрустила и что это непременно пройдет. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили к себе Маню – вернуть ее к ним не было никакой возможности. Маня, которую, щадя ее слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдруг выучилась читать по-немецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой без всякого

указания. С этих пор ее нельзя было разлучить с книгой. Ручным работам она училась усердно и понятливо, но обыкновенно спешно, торопливо кончала свой урок у старой бабушки или у старшей сестры и сейчас же бежала к книге, забивалась с нею в угол и зачитывалась до того, что не могла давать никакого ответа на самые простые, обыденные вопросы домашних. Ни веселого хохота, ни детских игр не знала с этих пор Маня; все те, небольшие конечно, удовольствия, которые доставляла ей мать, она принимала с благодарностью, но они ее вовсе не занимали. Чтение развивало в ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное внимание родных только после следующего случая. Взяла ее замужняя сестра один раз в театр на «Уголино», и сама была не рада с нею ни спектаклю, ни жизни. Маня разрыдалась в ложе и после того шесть недель вылежала в нервной лихорадке. Каждую почти ночь во время болезни она срывалась с кровати, плакала и кричала:

– Съешьте меня! Меня, меня съешьте скорей!

Впечатлительности девочки стали бояться серьезно. Ее старались удалять от всего, что могло, по соображению родных, сильно влиять на ее душу: отнимали у нее книги, она безропотно отдавала их и, садясь, молчала по целым дням, лишь машинально исполняя, что ей скажут, но по-прежнему часто невпо-

пад отвечала на то, о чем ее спросят. Родные теряли голову с этой восприимчивостью Маши. Как тщательно они ни берегли ее, невозможно же все-таки было удалить ее от всего, что различными путями добивалось в ее душу, с чем говорило ее чуткое сердечко. Оно говорило с визгливою песнью русской кухарки; с косящимся на солнце ощипанным орлом, которого напоказ зевакам таскал летом по острову ощипанный и полуголодный мальчик; говорило оно и с умными глазами остриженного пуделя, танцующего в красном фраке под звуки разбитой шарманки, – со всеми и со всем умело говорить это маленькое чуткое сердечко, и унять его говорливость, научить его молчанию не смог даже сам пастор Абель, который, по просьбе Софьи Карловны Норк, со всех решительно сторон, глубокомысленно обсудил душевную болезнь Мани и снабдил ее книгами особенного выбора.

Глава третья

Мое знакомство с семейством Норк началось в гораздо позднейшую эпоху, чем Манино детство, и началось это знакомство довольно оригинальным образом и притом непосредственно через Маню.

Дело это-таки, впрочем, уж было давненько. Жил я тогда на Васильевском острове, неподалеку от известной немецкой школы. Один раз летом возвращался я откуда-то из-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдруг с Ладоги дохнул ветер; в воздухе затряслось, зашумело; небо нахмурилось, волны по Неве сразу метнулись, как бешеные; набежал настоящий шквал, и ялик, на котором я переправлялся к Румянцевской площади, зашвыряло так, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая в воду и сухо вертясь в уключинах, звонко ударялось по бортам. Кое-как я перебрался на свой остров и чуть только ступил на берег, как хлынул азартнейший холодный ливень; ветер неистово засвистал и понесся вдоль линий; крупные капли били как градины; душ был необыкновенный. Я бросился бежать, как поспевали ноги, словно ребенок, преследуемый страшными привидениями, и, влетев на свой подъезд, совсем было сбил с ног спрятавшихся здесь от дождя двух

молоденьких девочек. Обе они были мокрехоньки и робко жались у стенки. На обеих на них были коричневые люстриновые платица и черные переднички с лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверх платица на одной из девочек, чернозамазенькой и востролиценькой брюнеточке, была надета пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успел разглядеть сначала, длинная черная тальма из легкого дамского полусукна. На голове первой девочки была швейцарская соломенная шляпа с хорошенькими цветами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа из серого кастора с одною черной бархаткой по тулье и без всякой другой отделки. У обеих на руках висели зеленые шерстяные мешочки, в которых сквозь взмокшую материю ясно обрисовывались корешки книг и пинали.

– Бедные две девочки, как тут приютились у нас на подъезде! – сказал я, представляясь в виде Язона мутным очам добродетельнейшей в мире чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей в моей одинокой квартире должность кухарки и камердинера и называвшей, в силу многочисленности лежавших на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательным именем: *прислуги*.

– О мейн гот! Дас ист шрекlich!⁴ – заговорила моя

⁴ О боже мой! Это ужасно! (нем.).

«прислуга».

– Да, – говорю, – позвать бы их к нам, Эрнестина Крестьяновна, чтоб не простудились они там стоячи мокрые на сквозном ветру.

– О ja, ja! Gott bewahr!⁵ – залепетала «прислуга» и побежала на лестницу.

– Ну сто? – начала она, появляясь через минуту назад с растопыренными руками и с неописанным смущением на лице: – один как совсем коцит, а другой совсем не коцит; ну, и сто я зделяйт?

Я вышел на подъезд сам. Девочки по-прежнему жались у стенки; черненькая несколько выдавалась вперед, а другая совсем западала за ее плечико.

– Войдите, сделайте милость, к нам, пока перейдет дождик, – сказал я, обращаясь к обоим детям безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не ответила, а по глазам ее видно было, что ей тут очень неловко и что она решительно не прочь бы зайти и пообогреться в комнате.

– Пожалуйста, зайдите! – повторил я и в эту минуту заметил из-под локтя передней девочки крошечную ручонку, которая беспрестанно теребила и трясла этот локоток соседки изо всей своей силы.

– Мы вам ничего худого не сделаем; нам только

⁵ О да, да! Боже сохрани! (нем.).

жаль, что вы здесь стоите, – обратился я к черненькой и снова заметил, что ручонка ее соседки под ее локотком задергала с удвоенным усердием.

– Она не хочет, а я без нее не могу, – отвечала, краснея и застенчиво улыбаясь, черненькая девочка, и чуть только она произнесла эти слова, как беспокойная ручка, назойливо теребившая ее локоток, отпала и юркнула под мокрую черную тальму.

– Как вам не стыдно бояться!

– Я ничего не боюсь, – чуть слышно прошептала задняя девочка и в ту же секунду тронулась с места; черненькая тоже пошла за нею, и обе рядышком они вступили в мои апартаменты, которые, впрочем, выглядывали очень уютно и даже комфортно, особенно со входа с непогожего надворья. Впрочем, теперешний вид моего жилья очень много выигрывал от того, что предупредительная Эрнестина Крестьянова в одну минуту развела в камине самый яркий, трескучий огонек.

Завидя в передней гостей, «прислуга» моя выбежала уточкой и начала около них кататься, стаскивая с них мокрые тальмы и шляпы, встряхивая их юбочки и обтирая их козловые сапожки.

Через минуту гости, держась рука за руку, робко вступили в мою зальцу и, пройдя три шага от двери, тотчас сделали мне самый милый книксен.

– Пожалуйте сюда, к камину, – попросил я их в кабинет.

Девочки двинулись вперед, снова держась рука за руку, и, оглянувшись по новой комнате, обе стали у огня.

– Садитесь, – попросил я их, пододвигая им два кресла.

Девочки вместе поклонились, очень оригинально уселись вдвоем на одном кресле, расправили юбочки и сушили ножки.

– А я сицас будить горячий кофе давай, – радостно объявила Эрнестина Крестьяновна и уплыла в кухню.

Я стал себе свертывать папироску и молча рассматривал моих гостей. Обе они были не девочки и не девушки, а среднее между тем и другим, как говорят – *подросточки*. Черненькой на вид было лет пятнадцать, и правильные, тонкие черты ее лица обещали из нее со временем что-то очень красивое; но это должно было случиться, когда линии лица протянутся до назначенных им точек и живые краски юности расцветят детскую смуглость нежной, тонкой кожи. Другая, которая, стоя в коридоре, все западала за свою подругу, была совсем в ином роде: по росту и сложению ей можно было дать лет тринадцать, а по лбу и бровям гораздо более, чем ее подруге. Эта девочка была некрасивая и никогда не обещав-

шая быть красавицей, но вся она была какое-то счастливейшее сочетание ума, грации и прелести. Фигурка ее была необыкновенно стройная, такая «миньонная», волосы тонкие, легкие, светло-пепельного цвета; носик строгий, губки довольно полные; правильно оканчивающийся подбородок и удивительной тонкости и белизны шейка, напоминающая красивую и гибкую шейку цыцарки. Но всего замечательней в этом лице были глаза, эти окна души, как их называли поэты, – окна, в которые внутренний человек смотрит на свет из своего футляра. Большие бирюзовые глаза эти были непременно очень близоруки. Это заключение возникло у меня вследствие того, что девочка при каждом относящемся к ней вопросе поворачивалась к говорящему всем телом, выдвигала несколько вперед головку и мило щурила свои глазки, чтобы лучше разглядеть того, кто говорил с нею. Ничего в мире нет мудренее и неразгаданнее таких близоруких глаз. Можно подумать, что они долго глядят не видя ничего, кроме света, и вдруг сосредоточатся на чем-нибудь одном, взглянут глубоко и тотчас же спрячутся за свои таинственные ресницы, точно робкие серны, убегающие за нагорные сосны.

Замечают, что большинство близоруких людей бывают очень мечтательны и что у них весьма часто бывает сильно развита фантазия. Может быть, в этом

замечания есть своя доля правды.

В то время, когда я, рассматривая моих гостей, предавался всем этим соображениям, «прислуга» вошла и поставила на стол поднос с тремя чашками горячего кофе.

– Фрейлейн, битте зер, тринкен зи шнеллер кафе,⁶
– пригласила Эрнестина Крестьяновна.

Черненькая девочка толкнула слегка локотком пепельную блондинку, и обе ни с места.

Я встал и подал им кофе.

– Ах, поставьте, мы возьмем сами, – отвечала, конфузясь, брюнетка.

Она встала, отряхнула начинавшие высыхать юбочки и, подойдя к столу, кликнула:

– Маньхен!

– Мм! – отозвалась Маньхен и, полуоборотясь, прищурила глазки.

– Бери же! – произнесла, продолжая беспрестанно меняться в лице, чернушка.

Маня еще прищурилась, пока рассмотрела стоящий на столе кофе и торопливо отвечала по-немецки:

– Ich danke sehr, Klara; ich will nicht.⁷

– Отчего же вы не хотите согреться? – спросил я как сумел ласковее.

⁶ Барышни, пожалуйста, пейте скорей кофе (нем.).

⁷ Большое спасибо, Клара; я не хочу (нем.).

– Благодарю вас, – отвечала чистым русским языком Маня.

– Вы церемонитесь?

– Нет... я... не озябла.

– Чашка кофе все-таки вам не повредит.

Маня опять прищурила глазки, встала и, слегка покачиваясь на своих ножках, подошла к столику.

Теперь я рассмотрел, что платья обеих девушек были не совсем коротенькие, но на подъеме так, что все их полусапожки и даже с полвершка беленьких чулочек были открыты. Дождь на дворе не прекращался; ветер сердито рвал в каминной трубе и ударял в окна целыми потоками крупного ливня; а вдалеке где-то грянул гром и раскатился по небу.

– Гром! – проговорила Маня.

– Да, а вы боитесь грома?

– Я? Да, я боюсь грома; а моя мама... Ида... Они знают, что я боюсь.

– Хотите, мы пошлем сказать, чтобы о вас не беспокоились? Далеко вы живете?

– Вот тут, всего через две линии; тут магазин наш, магазин Норк.

Я отвечал, что знаю, где их магазин.

– Но посылать, пожалуйста, не надо.

– Нет, нет, не надо, как можно! – заговорила она, увидя, что я хотел повернуться к кухне.

– Нет, прошу вас, пожалуйста, не посылайте бедную старушку.

Я вызвался сходить сам.

– Ах, нет, пожалуйста, не надо!

– Но ваши будут беспокоиться.

– Нет, пожалуйста... Они догадаются, что мы с Кларинькой куда-нибудь зашли. Теперь я вспомнила, что они подумают, что мы ждем в школе.

Сколько я ни старался уговоривать Маньхен, она ни за что не соглашалась ни пустить меня по дождю, ни послать «бедную старушку».

А погода действительно разыгралась во всю свою финскую мочь; все небо заволокло черною, свинцовою тучею; удары грома катились быстрее и непосредственнее вслед за скользившими зигзагами молнии.

– Маня, сколько здесь книг! – сказала из угла, стоя у моего книжного шкафа, Кларинька.

Маня сощурила глазки и, держа в зубках отломленный кусочек сухарика, наклонила головку вперед по голосу Клары.

– Где? – спросила она очень внимательно и необыкновенно тихо.

– Вот целый шкаф.

Маня так и пошла к шкафу с чашкою в руках и кусочком сухарика между зубками.

– Вы любите книги? – спросил я, подходя вслед за нею к шкафу.

– Да, я люблю, – уронила она едва слышно.

– Сколько их тут! – удивлялась Клара.

Маня воззрилась в корешки книг, как газель в лесную чащу; сухарик так по-прежнему оставался неразгрызенный в ее зубках.

– Вы много читаете? – спросил я Клару.

– Я? Нет; я так читаю... когда захочется; а она всегда читает.

– Маньхен! – добавила она, – посмотри, целый Пушкин.

Маня передвинулась молча и опять стала глядеть в переплеты; я не сводил глаз с ее живых, то щурившихся, то широко раскрывающихся глаз и бледного, прозрачного личика.

Она читала названья книг с такою жадностью, как будто кушала какой-нибудь сладкий запрещенный плод, и читала не одними глазами, а всем своим существом. Это видно было по ее окаменевшим ручкам, по ее вытянутой шейке, по ее губкам, которые хотя не двигались сами, но около которых, под тонкой кожицей, что-то шевелилось, как гусеница.

Так прошло семь или восемь минут. Маня все стояла у шкафа, и червячок все ворочался около ее губок, как вдруг раздался страшный удар грома и с треском

раскатился по небу. Маня слабо вскрикнула, быстро бросила на пол чашку и, забыв всякую застенчивость, сильно схватилась за мою руку.

Разлетевшаяся вдребезги чашка и зазвеневшая по полу ложечка испугали ее еще более.

– Идти! идти! – прошептала она, схватившись в испуге за мою руку и совсем подбиваясь под мой локоть.

Я не мог понять, что значит ее *идти*, и старался как умел и как мог ее успокоить, но она все тревожилась, вздрагивала, зорко смотрела вперед и каждый раз крепче жалась ко мне при всяком новом ударе.

– Как жаль, что вы так боитесь грома! – начал я, когда гроза утихла и небо стало понемножку светлеть и разъясняться.

Маня молча взглянула на меня, потом на разбитую чашку и пролитый кофе и опять прошептала:

– *Идти*.

– Теперь невозможно идти.

Девушка задумалась.

– Вас, верно, напугал кто-нибудь?

– Н-нет... это так... влияние...

Все существо Мани опять разом выразило, что ей очень тяжело от этого *влияния*, и тоненький червячок снова забегал под кожей около ее губок.

– Идти, – заговорила она, крепко сжимая мою руку, – нужно скорее идти... идти...

Она задрожала и жалась ко мне с выражением ужаса и как будто с мольбой, чтоб я удерживал ее, чтоб не пускал ее куда-то *идти*.

Гроза стихла.

Я ничего не стал спрашивать Маню об этом, как она называла, «влиянии», и как только немножко распогодилось, оделся и пошел проводить их. Магазин Норк был от моей квартиры в нескольких минутах ходьбы. Мы все втроем перешли это расстояние очень скоро и едва успели взяться за дверную ручку, как в магазине раздался сумасшедший крик, и в одно мгновение Маня совсем исчезла в какой-то необъятной куче светлого ситца. Ситец этот закутывал Маню, шевелился около нее, пожирал ее и издавал слабое, почти мышинное пищание, а вдалеке, где-то комнаты за две, послышалось дерганье, как будто кто-то тянул слабою рукою колодезный цебор. Звук эти все слышались ближе и ближе, и, наконец, в противоположной двери показалось высокое железное кресло с большими колесами, круглые ободы которых были тщательно обмотаны зеленой суконной покрывкой. На этом кресле, положив руки на ободья колес, сидела сама старость с младенчески шаткой головой и ушедшими в затылок глазами. Темный полосатенький капот и белый чепец, которым была покрыта подъехавшая фигура, слегка тряслись и дро-

жали. Даже пестрый шотландский плед, закрывавший недвижимые ноги старушки, слегка шевелился.

При появлении этого кресла ситец, поглотивший Маню, заворошился еще сильнее; из него поднялись две красноватые руки, взмахнули на воздухе и опять утонули в складках, а насупротив их показалась пара других, более свежих рук, и эти тоже взмахнули и также исчезли в ситцевой пене. Затем показалась головка Мани, а возле нее, у самых щек, отцветшая женская голова с полуседыми локонами и гладко причесанная белокурая головка девушки, волосы которой громко объявляли о своем ближайшем родстве с волосами Мани. Это были ее мать и сестра Ида, а в дверях на кресле – Манина бабушка.

Мы с девочкой Кларой двое оставались сторонними зрителями этой сцены, и на нас никто не обращал ровно никакого внимания. Маню обнимали, целовали, ощупывали ее платице, волосы, трогали ее за ручки, за шейку, ласково трепали по щечкам и вообще как бы старались удостовериться, не сон ли все это? не привидение ли? действительно ли это она, живая Маня, с своей маленькой и слабою плотью?

Мне очень хотелось уйти и не мешать этой семейной сцене, но в то же время я чувствовал необходимость рассказать в оправдание девушек, где они были и по какому случаю попали ко мне.

– Ах, как мы вас можем благодарить! Я не умею сказать вам, как я вам благодарна, – отвечала мне восторженно Софья Карловна, когда Маня перешла в объятия бабушки, а я наскоро рассказал кое-как всю эту историю.

Софья Карловна непременно просила меня остаться пить чай; она говорила, что сейчас будет ее зять, который уже целый час рыщет с своим знакомым, художником Истоминым, по всему острову, отыскивая везде бедную Маню. Я отказался от чаю и вышел.

Софья Карловна, прощаясь, взяла с меня слово, чтобы я непременно зашел к ним и был бы их хорошим знакомым. Я дал такое слово и сдержал его, даже во втором отношении.

Глава четвертая

На другое утро ко мне зашел незнакомый, очень щеголевато и в то же время очень солидно одетый, плотный, коротко остриженный господин с здоровым смуглым лицом, бархатными бакенбардами и очень хорошими черными глазами. Он назвал себя Фридрихом Шульцем; сказал, что он зять мадам Норк и что пришел поблагодарить меня от тещи и от себя за внимание, оказанное вчера детям. Фридрих Шульц говорил немного, держался с тактом и вообще вел себя человеком выдержанным. В заключение своего короткого визита он выразил надежду, что мы будем знакомы, и мы с ним простились.

Через день после визита, сделанного мне Шульцем, я отправился к Норкам узнать о здоровье Мани. Это было перед вечером. Маня сама отперла мне двери и этим сделала вопрос о ее здоровье почти неуместным, но тем не менее меня все встретили здесь очень радушно, и я очень скоро не только познакомился с семейством Норков, но даже стал в нем почти своим или, по крайней мере, очень близким человеком.

Здесь я должен сделать некоторое, весьма короткое впрочем, отступление для того, чтобы познако-

мить читателя со всеми лицами семейства Норков в ту именно пору, к которой относится этот рассказ, и при этом показать их чистенькое жилище.

Самым старым лицом здесь была утлая бабушка Норк. Ей было уже восемьдесят три года; она была некогда и умна, и красива, и добродетельна; нынче она была просто развалина, но развалина весьма опрятная, не обдававшая ни пылью, ни плесенью и не раздражавшая ничьего уха скрипом железных ставень, которые во всех развалинах так бестолково двигаются из стороны в сторону и несносно скрипят на заржавевших крючьях. У старушки Норк оставалось довольно ума и очень много сердца для того, чтобы любить каждый листочек дерева, выросшего из ее праматеринского лона, и между всеми этими веточками и листочками самым любимым листком старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норк. О Софье Карловне мы знаем достаточно, чтобы не говорить о ней в особенности. Она осталась навсегда доброю матерью и хорошею хозяйкою, но с летами после мужа значительно располнела; горе и заботы провели у нее по лбу две глубокие морщины; а торговые столкновения и расчеты приучили ее лицо к несколько суровому, так сказать суходольному выражению, которое замечается почти у всех женщин, поставленных в необходимость лично вести де-

ла не женского хозяйства. Берта Ивановна Шульц была прежде всего и больше всего красавица, здоровая, свежая, белая, роскошная, очень добрая, угодливая, верная жена, страстно нежная мать и бесценная хозяйка. Лучшим аттестатом семейным добродетелям Берты Ивановны был муж ее, Фридрих Фридрихович Шульц. Всегда практически умный, здоровый и веселый, Фридрих Шульц, в качестве мужа Берты Ивановны, раздобыл еще более; его веселый смех со времени женитьбы стал слышаться еще чаще и громче, а на лице его явилось еще более самоуверенности. В этой самоуверенности, которая лежала на лице Шульца, не было, впрочем, ничего заносчивого и обидного. Только при взгляде на свою жену или при разговоре о ней Фридрих Шульц примешивал к своей безобидной самоуверенности некоторую надменность.

– Ну-ка, – говорило тогда его лицо гостям, угощавшимся у его хлебосольной трапезы, – ну-ка, скажите-ка, мои голубчики, у кого из вас есть такая жена?

– А ни у кого у вас нет такой жены, да и ни у кого не может быть такой жены, – добавляло оно, следя за плававшей лебедью Бертой Ивановной. – А вот посмотрите, какой еще я куплю моей Бертиньке дом – так тоже у вас ни у кого и дома такого никогда не будет.

Ссор и неладов у этого супружества никогда не бывало. Ибо если иногда Берта Ивановна, отягощаясь

далеко за полночь заходившими у мужа пирушками, и говорила ему по-немецки: «Лучше бы они, Фриц, пораньше к тебе собирались», то Фридрих Фридрихович обыкновенно отвечал на это своей жене по-русски: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, чтобы мы с вами, мой друг, как-нибудь не поссорились!» – и тем все дело и кончалось.

Ида Ивановна, остававшаяся до сих пор девушкой, была иной человек, чем ее сестра Берта Шульц, и совсем иной, чем сестра ее Маня. Ида была очень недурна собой. Рост у нее был прекрасный и фигура очень стройная, так что, глядя сзади на ее роскошные плечи, гибкую талию и грациозную шейку, на которой была грациозно поставлена пропорциональная головка, обремененная густейшими русыми волосами, можно было держать пари, что перед вами женщина, не раз заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце; но стоило Иде Ивановне повернуться к вам своим милым и даже, пожалуй, красивым лицом, и вы сейчас же спешили взять назад составившееся у вас на этот счет предположение. У Иды Ивановны был высокий, строгий профиль, почти без кровинки во всем лице; открытый, благородный лоб ее был просто прекрасен, но его ледяное спокойствие действовало как-то очень странно; оно не говорило: «оставь надежду навсегда», но говорило: «про-

шу на благородную дистанцию!» Небольшой тонкий нос Иды Ивановны шел как нельзя более под стать ее холодному лбу; широко расставленные глубокие серые глаза смотрели умно и добро, но немножко иронически; а в бледных щеках и несколько узеньком подбородке было много какой-то пассивной силы, силы терпения. В губах у старшей девицы Норк было нечто общее с Манею, но это *нечто* и здесь было совершенно неувлимо. Оно и здесь тоже совсем не принадлежало самим устами Иды Ивановны, а это именно был опять такой же червячок, который шевелился, пробежал по ее верхней губе и снова скрывался где-то, не то в крови, не то в воздухе.

Самые уста Иды Ивановны были необыкновенно странны: это не были тонкие бледные губы, постоянно ропщущие на свое малокровие; это не был пунцовый ротик, протестующий против спокойного величия стального лица живых особ, напрасно носящих холодную маску Дианы. Уста Иды были в меру живы и в меру красны; но и опять вы почему-то понимали, что они никогда никого не поцелуют иным поцелуем, как поцелуем родственной любви и дружбы. Оставив пансион, Ида Ивановна на другой же день поставила себе стул за прилавок магазина и сделалась самой усердной и самой полезной помощницей своей матери. Софья Карловна не ставила Иду Ивановну нико-

му в пример и даже не так, может быть, нежно любила ее, как Маню, но зато высоко ее уважала и скоро привыкла ничего не предпринимать и ни на что не решаться без совета Иды. О том, что Ида Ивановна тоже девушка, что она тоже может кого-нибудь полюбить и выйти замуж, в семействе Норк, кажется, никто не подумал ни одного раза. Даже практическому Шульцу, относившемуся к свояченицам и к теще с самым горячим участием, и ему сдавалось, что Ида совсем что-то такое, так собственно и рожденное исключительно для семьи Норков и имеющее здесь, в этой семье, свое вековечное место. Есть такие странные девушки, так уже вот и прикрепленные на всю жизнь свою к родимой семье. Так это на них и знаменуется: взглянешь и сейчас это видишь. Таких девушек очень часто приходится встречать в нашем сельском духовенстве и особенно много их в благовоспитанных семьях небогатых петербургских немцев. Чуть не с колыбели какая-то роковая судьба обрекает их в хранительниц родительской старости да в няньки сестриных детей, и этот оброк так верно исполняется ими до гроба. Они делаютя *крепкими* своему положению до того, что упасть, или немножко пошатнуться, или скользнуть, хотя немножечко, одной ногою, для них уж невозможно. Не знаю, надобно ли к этому уж прямо родиться или можно себя приучить жить для таких целей, но

знаю, что такова была именно Ида, хотя на прекрасном лице ее и не было написано: «навек оставь надежду». Печать иная почивала на этом облике: вам доверить ей хотелось все, что вам мило и дорого на свете, и ваше внутреннее чувство вам за нее клялось, что ни соблазн любовных слов, ни золото, ни почести, ни диадема королевы врасплох ее застать не могут и не возьмут ее в осаду. Око ее было светло, сердце чисто.

В заключение упомяну еще о подмастерье Германе Вермане, который сам себя не отделял от семейства Норков и которого грех было бы отделить от него в этом рассказе.

Герман Верман был небольшой, очень коренастый старик, с угловатой головою и густыми черными, с проседью, волосами, которые все называли *дикими* и по которым Ида Ивановна самого Вермана прозвала Соважем.⁸ Соваж был старик честнейший и добрейший, хороший мастер и хороший пьяница. По наружности он более был похож на француза, чем на немца, а по нраву на англичанина; но в существе он был все-таки немец, и самый строгий немец.

Жили Норки в небольшом деревянном доме на углу одной из ближайших линий и Большого проспекта, дома которого, как известно, имеют вдоль фасадов до-

⁸ Дикарем (франц.)

вольно густые и тенистые садики, делающие проспект едва ли не самую приятную улицу не только острова, но и всего Петербурга. В пяти окнах, выходящих на линию, у Норков помещался магазин и мастерская, в которой жил и работал с учениками Герман Верман. Жилые комнаты (которых счетом было четыре) все выходили окнами в густой садик по Большому проспекту. Здесь, тотчас влево от магазина, была большая, очень хорошо меблированная зала, с занавесками, вязанными руками Иды Ивановны, с мебелью, покрытую белыми чехлами, и с хорошим фортепьяно. Далее шла маленькая гостиная для коротких друзей. Это просто был кусок спальни Софьи Карловны, отделенный красивыми ширмами красного дерева и установленный мягкой голубой мебелью. За ширмами была самая спальня. Другие две комнаты, выходящие окнами на двор, отделялись от двух первых широким, светлым коридором. В углу коридора, совершенно в сторонке, была комната бабушки, а прямо против импровизированной гостиной – большая и очень хорошая комната Иды и Мани. Комната эта была их спальнею, и тут же стояли два маленькие письменные столика. Далее, в конце коридора, сейчас за комнату девиц, была кухня, имевшая посредством особого коридорчика сообщение с мастерскою, где жил Герман Верман; а из кухни на двор шел особый

черный ход с деревянным крыльчком.

Квартира эта по улице была в первом этаже, но со стороны двора под нею был еще устроен невысокий полуэтаж, и как раз под одним из окон девиц выходило крыльцо этого полуэтажа, покрытое широким навесом кровельного железа.

Жило семейство Норков как нельзя тише и скромнее. Кроме каких-то двух старушек и пастора Абеля, у них запросто не бывал никто. С выходом замуж Берты Ивановны, которая поселилась с своим мужем через два дома от матери, ежедневным их посетителем сделался зять. Шульц вместе с женою навещал тещину семью аккуратно каждый вечер и был настоящим их семьянином и сыном Софьи Карловны. Потом в доме их, по известному читателям случаю, появился я, и в тот же день, вслед за моим выходом, Шульц привез художника Истомина.

Художник Роман Прокофьевич Истомин еще очень незадолго перед этим событием выделился из ряда своих товарищей одною весьма талантливою работою, давшею ему сразу имя, деньги, знакомства многих великих мира сего и расположение множества женщин. Все это вместе взятое, с одной стороны, делало Истомина уже в то время лицом довольно интересным, а с другой – снабжало его кучею врагов и завистников, которых всегда так легко приобретает

себе всякое дарование не только в среде собратий по профессии, но и вообще у всего мещанствующего разума, живо чувствующего бессилие своей практической лошади перед огненным конем таланта. Талантливости Истомина не отвергал никто, но одни находили, что талантливость эта все-таки не имеет того значения, которое придают ей; другие утверждали, что талант Истомина сам по себе велик, но что он принимает ложное направление; что деньги и покровительства губят его, а в это время Истомин вышел в свет с другою работою, показавшею, что талант его не губится ни знакомствами, ни деньгами, и его завистники обратились в злейших его врагов. Истомуна шла удача за удачею в жизни и необыкновенное счастье в любви. У него бывали любовницы во всех общественных слоях, начиная с академических натурщиц до... ну, да до самых неприступных Диан и грандесс, покровительствующих искусствам. Последнее обстоятельство имело на художественную натуру Истомина свое неотразимое влияние. Красивое, часто дышавшее истинным вдохновением и страстью, лицо Истомина стало дерзким, вызывающим и надменным; назло своим врагам и завистникам он начал выставлять на вид и напоказ все выгоды своего положения – квартиру свою он обратил в самую роскошную студию, одевался богато, жил весело, о женщи-

нах говорил нехотя, с гримасами, пренебрежительно и всегда цинически.

Я слышал об Истомине много хорошего и еще больше худого, но сам никогда не видал его. Известно мне было, что он существует, что он едва ли не один из самых замечательных молодых талантов в академии, что он идет в гору – и только. Знал я также, что Истомин состоит в приятельских отношениях с Фридрихом Шульцем, а от Иды Ивановны слышал, что Шульц вообще страстный охотник водить знакомство с знаменитостями и потому ухаживает за Истоминим.

– Это ахиллесова пята нашего Фрица, – шутила Ида.

Только я и знал об Истомине. В доме Норков со дня своего первого посещения он не был ни разу, да и нечего было ему здесь и делать в этой тихой, скромнейшей семье.

Глава пятая

Сблизясь с семейством Норков, я, разумеется, познакомился ближе и с Фридрихом Шульцем. Человек этот, как я уже сказал выше, с первой же встречи показался мне образцом самой хорошей порядочности, но... бог его знает, что в нем было такое, что как-то не располагало к нему и не влекло. Фридрих Фридрихович был и хлебосол и человек не только готовый на всякую посылку, но даже напрашивавшийся на нее; он и патриотизму русскому льстил, стараясь как нельзя более во всем русить; и за дела его можно было только уважать его, а все-таки он как-то не располагал человека искренно в свою пользу. Определительно в нем чувствовался недостаток простоты, благоуханно почивавшей в воздухе, которым дышало семейство Норков. Зайдешь, бывало, к Фридриху Фридриховичу – он встречает радушно: «Добро пожаловать! – кричит, бывало, еще чуть ногу на порог переставишь. – Проходите, батюшка, к моей бабе, а я тут с людишками поразверстаюсь», – докончит он, указывая на стоящих артельщиков. Кажется, будто и чистосердечно, и приветливо, и просто, а чувствуешь, что нет во всем этом ни чистосердечия, ни простоты, ни приветия. Пойдешь к Берте Ивановне – та тоже встретит с улыб-

кой, с вечно одинаковой, доброй улыбкой; расскажет, что ее Фриц совсем измучился; что они ездили вчера смотреть Газе и что Газе в Лудовике, по ее мнению, гораздо лучше, чем в Кромвеле, а что о Раабе и о Гюварт, право, гораздо больше говорят, чем они заслуживают. Но и от этой доброй улыбки Берты Ивановны и от этих ее рассказов не согревается душа и не теплеет на сердце. Проболтаешь с полчаса, входит Фридрих Фридрихович, отдуется, упадет с видом утомления на диван и, разгладив бархатные бакенбарды, начинает:

– А у меня, милостивец мой, опять какой мудреный крендель нынче завернулся. Тут, прости меня господи, с этой ерундой с своей не можешь никак себя хорошенько сообразить, а вчера только приезжаю, застаю повестку, что молодые Коровниковы выпросили меня себе попечителем. Ну помилуйте, скажите, что это такое?! Ведь это же, наконец, наказание! «Разве мало, говорю, у вас, господа, своих русских? Найдется, чай, довольно охотников мильонным состоянием опекать». Нет, свое твердят: «Мы вас, Фридрих Фридрихович!» – «Да что, говорю, вас! кислый квас! Что такое неправда за *меня*? что я, в самом деле, за такое особенное? ведь я, говорю, господа, немец, шпрехензидейч, Иван Андрейч, колбасник!» Нет, опять свое: *вы да мы, мы да вы*, да и давай целоваться. Ну, что

вы тут с таким народом прикажете разговаривать?

Поставит, бывало, Фридрих Фридрихович в самое неприятное положение таким, совершенно, впрочем, правдивейшим, рассказом и смотрит в глаза, пока ему сочинишь какую-нибудь любезность. Впрочем, если он заметит, что уж вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь ответа, крикнет:

– Бертинька! а ну, дай нам, матушка, что-нибудь такое позабавиться.

И из комнаты Берты Ивановны тотчас же появляется поднос с холодной закуской, графинчиком Doppelcorn,⁹ бутылкой хересу и бутылкой портеру.

– Без соли, без хлеба – худая беседа. Наш брат, русский человек, любит почавкать, – начинает Фридрих Фридрихович, давая вам почувствовать, что когда он десять минут назад называл себя немецким человеком, то это он шутил, а что, в самом-то деле, он-то и есть настоящий русский человек, и вслед за этой оговоркой Шульц заводит за хлебом-солью беседу, в которой уж гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческим, впрочем, правом хвалить его ум, его добродетель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлеб-соль и его сигары.

У Норков же было совершенно иное. Проходишь,

⁹ Дуппель-корн – то есть водка из хлебных злаков (нем.).

бывало, через магазин – Ида Ивановна чаще всего стоит с каким-нибудь покупателем и продает ему папиросную машинку или салатную ложку; поклонись, проходя, как попало Иде, она кивнет головою, тоже чуть заметно, и по-прежнему ведет свое дело с покупателем. Придешь в залу – никого нет, но все смотрит так приветно: и фортепиано и закрытая чехлами мебель как будто говорят вам: «Здравствуйте-с! просим покорно садиться». Вы и садитесь. Так именно было со мною в третье посещение Норков. Я прошел мимо Иды Ивановны, стоявшей в магазине, и сел, не зная, что мне делать, но чувствуя, что мне совсем здесь хорошо и ловко.

Через две или три минуты Ида Ивановна сбыла с рук покупателя и показалась в зале. Выйдя из магазина, она в обеих руках держала по ломтю спелой дыни, посыпанной сахаром.

– Нехорошая дыня, – сказала она, протягивая мне ломтик в своей тонкой белой руке, и в то же время сама начала другой.

– Нет, ничего, – отвечал я, отведав дыни.

– Водянистая; нынче лето такое гадкое, все фрукты какие-то водянистые.

– А что ваша сестра?

– Маня? Она все возится с вашими книгами.

– А я ей еще принес.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

– Вы нам ее совсем испортите. Подите к ней, если хотите, в ее комнату.

– Можно?

– Отчего же? Там убрано. Я одна тут; мне нельзя отойти от магазина; мамы нет дома, а бабушка уж закатилась и спит.

Я поблагодарил и коридорчиком прошел к комнате Иды и Мани.

– Войдите, – сказала Маня, когда я второй раз постучался у ее двери.

Я застал Маню, сидевшую на окне, с которого до половины была сдвинута синяя тафтяная занавеска. На коленях у Мани лежала моя книга.

– Здравствуйте! – сказала она, щурясь и осторожно спуская на пол свои крошечные ножки. – А я так и думала, что это вы.

– Отчего же это вы так думали?

– Так... читала и как-то про вас вспомнила, а вы и пришли. Садитесь.

Я сел. Маня выбежала на минуту и вернулась с пепельницей, сигарою и спичками.

– Курите, – сказала она, ставя предо мною спички и подавая мне сигару.

Я поблагодарил.

– Это Фрицева сигара: он всегда хорошие сигары

курит; вы попробуйте.

Я взял сигару и закурил: сигара точно оказалась очень хорошею.

– Довольны вы книгою? – начал я, чтобы с чего-нибудь начать.

– Да, – отвечала торопливо Маня. – Это так по-русски; такое... действительное.

– Вы любите более действительное?

Девушка задумалась.

– Я много читала, – начала она тихо, – но вы меня не спрашивайте. Я все читаю. Это вот хорошая книга, – продолжала она, указывая на мой томик «Записок охотника», – нравится мне, а я не могу рассказать почему... Так, какое-то влияние такое... Жаль прочесть скоро. А другие книги читаешь... даже спешишь. Так читаешь...

Маня махнула ручкой.

– Без влияния?

Девушка смотрела на меня долго и, пожав плечиками, сказала:

– Я не знаю, право, какое ж другое слово?

Мне стало стыдно своей попытки слегка подтрунить над Маней.

– Видите, – говорила она, робея и потупляя глазки, – Шиллера, Гете, Ауэрбаха – все это я брала у Фрица; все кое-как знаю; и еще разные там книги у него

брала... а это новое совсем, и такое понятное... как самой будто все это хочется почувствовать: ведь это ж влияние значит?

– Вы знаете, – говорила она мне, прощаясь, – вы не думайте, что мои родные в самом деле сердятся, что я читаю книги. Фриц сказал, что ваши книги мне всегда можно читать, и мама мне тоже позволила.

– Очень рад, – отвечал я и ушел, пожав ей ручку.

Фридрих Фридрихович, значит, ко мне благоволил, и я дал себе слово дорожить этим благоволением для Мани.

Так прошло нашему знакомству, надо полагать, месяца три или четыре. В это время я познакомился у Шульца с несколькими знаменитостями, впрочем не первой руки, – и, между прочим, с Романом Прокофьевичем Истоминым. При всех предубеждениях против этого человека он мне очень понравился. Кроме таланта, выразительной наружности и довольно редкой в русском художественном кружке образованности, к нему влекла его хорошая, страстная речь, гордое пренебрежение к врагам и завистникам и смелая, твердая решимость, соединенная (когда он хотел этого) с утонченнейшею мягкостью и теплотой обращения. Я на Романа Прокофьевича тоже, кажется, произвел впечатление довольно выгодное, и со второго или третьего свидания мы стали держать себя по от-

ношению друг к другу добрыми приятелями. Это еще не решено, да и вряд ли когда-нибудь будет решено, почему с одним человеком почти ни с того ни с сего легко сходишься, сам того не замечая, а с другим ни от того ни от сего, при всех усилиях сойтись, никак не сойдешься. Почти совершенно друг друга путем не зная и не ведая, сошлись мы с Романом Прокофьевичем так, что вдруг очутились на одной квартире. Он напал случайно на очень хороший бельэтаж небольшого домика; в этом бельэтаже приходилось по три одиноких комнаты со сторон и посередине необыкновенно изящный круглый зал, оклеенный темно-синими парижскими обоями с широким золотым карнизом. Я взял себе три комнатки налево, а Роман Прокофьевич три комнаты направо да этот очаровательный зал под мастерскую. Дверь из залы на мою половину заперли, завесили синим сукном, и зажили мы с Истоминным, сходясь часто, но никогда не мешая друг другу не вовремя. Ко всему этому для меня было большой находкой, что Истомин, часто, и не заходя ко мне из-за своей стены, рассеивал налегавшую на меня тоску одиночества музыкаю, которую он очень любил и в которой знал толк, хотя никогда ею не занимался путем, а играл на своем маленьком звучном пианино так, сам для себя, и сам для себя пел очень недурно, даже довольно трудные вещи.

Живя в таком близком соседстве, я, против всякого желания, убедился, что Истомин действительно был женским кумиром. Минуту, кажется, трудно было улучшить такую, когда б у него не была в гостях какая-нибудь женщина, и все это были женщины комифотные – «дамы сильных страстей и густых вуалей». Невольно слышал я из-за моих дверей и нежные ласки, и страстные, кровь кипятящие вздохи, и бешеные взрывы ревности, и опасения, и страхи, и те ехидные слова, которыми страсть оправдывает себя перед рассудком, и привык я ко всему этому очень скоро и на все это не обращал давно никакого внимания.

– Я очень часто слышу, любезный Истомин, что говорят ваши дамы, – раз или два намекал я моему соседу.

– Нельзя же, голубчик, без этого – надо же им где-нибудь и поговорить, – отвечал он мне, словно не понимая моего намека.

Так мы и жили. К нам обоим заходил иногда Фриц Фрицевич (так звал Шульца Истомин), и мы частенько навещали Фрица Фрицевича. Навещаая нас, бездомников, Фридрих Фридрихович являлся человеком самым простодушным и беспретендательным: все ему, бывало, хорошо, что ни подашь; все ловко, где его ни посадишь. Зайдя же ко мне второй раз, он прямо спросил:

– А не пьют ли у вас в деревне в это время водки?

– Извините, – говорю, – Фридрих Фридрихович, водка есть, но закусить, кажется, нечем.

– Ну, что там, – отвечает, – за закуска еще; истинные таланты не закусывают. А вы вот, – говорит, – поаккомпанируйте-ка!

Я опять извиняюсь; говорю:

– Рано, не могу утром пить.

– Ну, да я, впрочем, солист, – отвечал Шульц и спокойно выпил вторую рюмку.

Таков он был и всегда и во всем, и я и Истомин держались с ним без всякой церемонии. К Норкам Истомин не ходил, и не тянуло его туда. Только нужно же было случиться такому греху, что попал он, наконец, в эту семью и что на общее горе-злосчастье его туда потянуло.

Об этом теперь и наступает повествование.

Глава шестая

Раз, вскоре как стала зима, сижу я у себя и работаю. Вдруг, этак часу в первом, слышу звонок. Является моя «прислуга» и шепчет:

– Там один какой-то дама вас спрашивать.

Выхожу я – смотрю, Ида Ивановна сидит на диване и улыбается, а возле нее картонный ящик и большущий сверток в толстой синей бумаге.

– Здравствуйте! – говорит Ида Ивановна. – Устала я до смерти.

– Кофе, – говорю, – чашечку хотите?

– А крепкий, – спрашивает, – у вас кофе варят?

– Какой хотите сварят.

– Ну, так дайте; только самого крепкого.

«Прислуга» моя захлопотала.

– А ведь я к вам это как попала? – начала с своим обыкновенным спокойствием Ида Ивановна. – Я вот контрабанды накупила и боюсь нести домой, чтоб не попасться с нею кому не следует. К Берте зайти еще пуще боюсь, чтобы не встретиться. Пусть это все у вас полежит.

– Извольте, – говорю, – с радостью.

– Нет, в самом деле, это не то что контрабанда, а разные, знаете, такие финти-фанты, которые надо

сберечь, чтоб их пока не увидали дома. Дайте-ка мне какой-нибудь ящик в вашем комод; я сама все это хорошенько уложу своими руками, а то вы все перемнете.

Я очистил ящик; Ида Ивановна все в него бережненько посложила.

– Вы знаете, что это такое? – начала она, садясь за кофе. – Это здесь платице, мантилька и разные такие вещицы для Мани. Ведь через четыре дня ее рождение; ей шестнадцать лет будет – первое совершеннолетие; ну, так мы готовим ей сюрпризы, и я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моем подарке. Я нарочно даже чужой модистке заказывала. Вы тоже смотрите, пожалуйста, не проговоритесь.

– Нет, зачем же!

– То-то: зачем! Это всегда так, ни за чем делается. Я тогда утром пришлю девушку, вы ей все это и отдайте.

– Хорошо-с, – говорю, – Ида Ивановна, – и тотчас, как проводил ее за двери, отправился на Невский, взял новое издание Пушкина и отдал его Миллеру переплесть в голубой атлас со всякими приличными украшениями и с вытисненным именем Марии Норк.

Вечером в тот же день я зашел к Норкам и застал в магазине одну Иду Ивановну.

– Послушайте-ка! – позвала она меня к себе. – Вот умора-то! Бабушка посылала Вермана купить кана-

рейку с клеткой, и этот Соваж таки протащил ей эту клетку так, что никто ее не видал; бабушка теперь ни одной души не пускает к себе в комнату, а канарейка трещит на весь дом, и Манька-плутовка догадывается, на что эта канарейка. Преуморительно.

– Да чего это, – говорю, – Ида Ивановна, так уж очень со всем этим секретничаете?

– Ах, как же? Ведь уж если все это делать, то надо сюрпризом! Неужто ж вы не понимаете, что это сюрпризом надо?

При всем желании Иды Ивановны ничем не нарушать обыденный порядок весь дом Норков точно приготовлялся к какому-то торжественному священнодействию. Маня замечала это, но делала вид, что ничего не понимает, краснела, тупила в землю глаза и безвыходно сидела в своей комнате.

Наступил, наконец, и долгожданный день совершеннолетия. Девушка Иды Ивановны ранехонько явилась ко мне за оставленными вещами, я отдал их и побежал за своим Пушкиным. Книги были сделаны. Часов в десять я вернулся домой, чтобы переодеться и идти к Норкам. Когда я был уже почти совсем готов, ко мне зашел Шульц. В руках у него была длинная цилиндрическая картонка и небольшой сверток.

– Посмотрите-ка, отец родной! – сказал он, вытаскивая из картонки огромную соболью муфту с белым

атласным подбоем и большими шелковыми кистями.

– Прелесть, – произнес я, погладив рукою муфту.

Фридрих Фридрихович подул против шерсти на то место, где прошла моя рука, и, встряхнув муфту, опустил ее снова в картонку.

– А эта-с штуkenция? – запытал он, раскатав дорожкой соболий же воротник, совсем уж готовый и насте-ганный на шелковую подкладку.

– Хорошо.

– Оцените?

– Рублей триста.

– Пятьсот!

– Очень хорошо.

– А Бертинька повезла этакую бархатную нынешнюю шубку на гагачьем пуху; знаете, какие нынче делают, с этакой кружевной пелериной. Понимаете, ее и осенью можно носить с кружевом, и зимой: пристегнула вот этот воротничшко – вот и зимняя вещь. Хитра голь на выдумки; Правда? – воскликнул он, самодовольно улыбнувшись и ударив меня фамильярно по плечу.

– Да это все кому же?

– Да Маньке же, Маньке! – Шульц переменил голос и вдруг заговорил тоном особенно мягким и серьезным: – Ведь что ж, правду сказать, нужно в самом деле, как говорится, соблюдать не одну же формен-

ность.

Где это и при каких это случаях *говорится*, что «нужно соблюдать не одну форменность», – это осталось секретом Фридриха Фридриховича. Он очевидно цацкался передо мною с своими дорогими подарками и, попросив меня одеваться поскорее, понес свои коробки к Истомину.

Через пять или десять минут я застал их с Истоминым, рассуждавших о чем-то необыкновенно весело. Рядом с муфтой Мани на диване лежала другая муфта, несколько поношенная, но несравненно более дорогая и роскошная.

– Эта, ваше степенство, не по нашим капиталам, – говорил Фридрих Фридрихович, выводя пальцем эсы по чужой муфте, которая, видимо, сбила с него изрядную долю самообожания. – Какие ручки, однако, должны носить эту муфту?

– Ручки весьма изрядные, – отвечал, тщательно повязывая перед зеркалом галстук, Истомин. – Насчет этих ручек есть даже некоторый анекдот, – добавил он, повернувшись к Шульцу. – У этой барыни муж дорогого стоит. У него руки совсем мацерированные: по двадцати раз в день их моет; сам ни за что почти не берет, руки никому не подает без перчатки и уверяет всех, что и жена его не может дотронуться ни до чьей руки.

Фридрих Фридрихович вдруг так и залился счастливейшим смехом.

– Ну что ж, он ведь и прав! Муж-то, я говорю, он ведь и прав! – взвизгивал Фридрих Фридрихович. – Она ведь за *руки* только не может трогаться.

Я видел в зеркало, как Истомин, снова взявшийся за свой галстук, тоже самодовольно улыбнулся.

– Понюхайте-ка, – сказал, завидя меня и поднимая муфту, Фридрих Фридрихович, – чем, сударь, это пахнет?

Не понимая в чем дело, я поднес муфту к лицу. Она пахла теми тонкими английскими духами, которые, по словам одной моей знакомой дамы, сообщают всему *запах счастья*.

– Счастьем пахнет, – отвечал я, кладя на стол муфту.

– Да-с, вот какие у Романа Прокофьича бывают гости, что все от них счастьем пахнет.

Шульц опять расхохотался.

– А позвольте-ка, господа, лучше прибрать это счастье к месту, – проговорил Истомин, – сравнили, и будет ею любоваться, а то чего доброго... ее тоже, пожалуй, кое-кто знает.

– Ну-с! так во поход пошли гусары? – спросил Шульц, видя, что Истомин совсем готов.

Я взял мою шляпу и мои книги, обернутые яркою

цветною бумагою.

– Тоже подарок? – спросил Шульц.

Я отвечал утвердительно.

Истомин остановился посреди комнаты.

– Что ж это, господа? – заговорил он. – Ведь это уж нехорошо: все вы с подарками, а я с пустыми руками.

– Ну, ничего! что там еще за подарки! Вы нечаянный гость; я скажу, что утащил вас насильно, – убеждал его Фридрих Фридрихович.

– Да! да позвольте-ка-с еще! У меня и у самого сейчас найдется для нее подарок, – воскликнул Роман Прокофьич и, торопливо вытащив из-за мольберта один из стоявших там запыленных картонов, вырезал из него прихотливый, неправильный овал, обернул этот кусок бумагою, и мы вышли. Не знаю почему, но мне было ужасно неприятно, что Истомин, после этого цинического разговора о дамской муфте, идет в дом Норков, да еще вместе с нами, и в этот святой для целого семейства день совершеннолетия Мани. Тем, кто знаком с предчувствиями, я могу сказать, что у меня были самые гадкие предчувствия, и они усилились еще более, когда перед нами отворилась дверь в залу и от стены, у которой стояло бабушкино кресло и сидело несколько родных и сторонних особ, отделилась навстречу нам фигура Мани, беленькая и легонькая, как морская пена.

Я никогда не забуду всех мельчайших подробностей здешней картины, навсегда запечатлевшейся в моей памяти.

Вся зала была обновлена в это самое утро. Обновление ее состояло в том, что на окнах были повешены новые занавесы; с фортепиано была снята клеенка, бронзовые канделябры были освобождены из окутывавшей их целый год кисеи, и обитые голубым рипсом стулья и кресла нескромно сбросили с себя свои коленкоровые сорочки. Кроме того, почти во всю залу (она же и гостиная) был разостлан огромный английский ковер, принесенный с собою в приданое еще бабушкой. Вдоль одной стены, прямо против двери, на своем подвижном кресле сидела сама бабушка. Старушка была одета в белом пикейном капоте с множеством кружевных обшивок и кругленькими, похожими на горошинки, беленькими же пуговками. На старческой голове бабушки был высокий полуфламандский чепчик с туго накрахмаленными оборками и полосатыми лентами, желтой и ранжевой. Рядом с креслом старушки, в другом кресле, помещался пастор Абель в длинном черном сюртуке и белом галстуке. Возле пастора сидела мадам Норк, тоже в белом платье и с натуральными седыми буклями; у плеча мадам Норк стоял Герман Верман, умытый, вычищенный и долго чесавшийся, но непричесанный, по-

тому что его «дикие» волосы ни за что не хотели ложиться и топорщились по обыкновению во все стороны. На Германе Вермане был светло-коричневый фрак, белый жилет, очень кургузые синие панталоны и красный галстук, едва схватывавший крупнейшие тугие полисоны немилосердно крахмаленной манишки. Далее сидела Ида Ивановна, Берта Шульц, булочница Шперлинг и ее дочь, наша старая знакомая, подруга Мани, Клара Шперлинг. Кроме пастора и Вермана, все решительно были одеты во все белое, а черненькая Клара Шперлинг смотрела настоящей мухой в сметане.

Маня стояла между бабушкой и пастором, который говорил ей что-то такое, что девушку, видимо, приводило в состояние некоторой ажитации, а у ее старой бабушки выдавливало слезы.

При нашем появлении в дверях пастор и бабушка разом освободили ручки Мани, и девушка, заколыхавшись как кусок белой пены, вышла навстречу нам на середину комнаты.

Далее Шульц не пустил ее. Он поднял торжественно перед собою ладонь и дал почувствовать, что сейчас начнется что-то такое, требующее благоговейшей тишины и внимания.

С этим он кашлянул, поднял на Маню самый официальный взгляд и произнес:

– Сестра!

– Тес! – пронеслось по зале; впрочем, и без того никто не нарушал ни малейшей тишины.

– Приветствую тебя в этот торжественный день твоей жизни! – начал Шульц тоном и дикцией проповедника. – Приветствую тебя не как ребенка, а как женщину – как человека, который отныне получает в обществе свои права и принимает свои обязанности перед семьей и перед обществом. Дай бог... (пастор, а за ним и все присутствующие при слове «бог» поднялись с мест и стали. Шульц продолжал еще торжественней...) Дай бог, повторяю я, преданнейший слуга и брат твой, усердно моля за тебя умершего на кресте спасителя, чтобы все великие и святые обязанности женщины стали для тебя ясны, как ясно это солнце, освещающее дорожкой для всех нас день твоего совершеннолетия (солнце ярко и весело смотрело в окна через невысокие деревья палисадника). Дай бог, чтобы зло и неправда человеческая бежали от тебя, как тьма бежит от лучей этого солнца! *Honestus rumor alterum patrimonium est* – говорит мудрая латинская пословица, то есть: хорошая репутация заменяет наследство; а потому более всего желаю тебе, чтобы в твоём лице и мы и все, кто тебя встретит в жизни, видели повторение добродетелей твоей высокопочтенной бабушки, твоего честного отца, душа которого те-

перь присутствует здесь с нами (Софья Карловна заморгала глазами и заплакала), твоей матери, взлелеявшей и воспитавшей своими неусыпными трудами и тебя и сестер твоих, из которых одной я обязан всем моим счастьем! (Берта Ивановна заплакала; Шульц подошел, поцеловал руку жены, тоже отер слезу и закончил.) Девица Мария Норк! дорогая новорожденная сестра наша, прими наше братское приветствие и осчастливь себя и нас воспитанием в себе тех высоких качеств, которых мы вправе ждать от твоего прекрасного сердца.

Произнеся эту, всеконечно заранее обдуманную речь, Фридрих Шульц вдруг стал на колени, взял Маню за обе руки и сильно растроганным голосом, в котором в самом деле дрожали искренние слезы, проговорил:

– Матушка! Машуточка! Утешь-оправдай на себе нашу родную русскую пословицу, что «от яблоньки яблочко недалеко катится!»

Шульц взял и поклонился Мане в ноги, веско ударив лбом в пол.

Маня быстро опустилась, схватила зятя за плечи и оба вместе поднялись на ноги.

Фридрих Фридрихович поцеловал ее в губы и потом еще раз поцеловал одну за другою обе ее руки.

Я подошел и в замешательстве тоже поцеловал

Манину руку. Маня, у которой глаза давно были полны слез, смешалась еще более, и рука ее дрогнула. За мною в ту же минуту подошел Истомин, сказал что-то весьма почтительное и смело взял и также поцеловал руку Мани. Девушка совсем переконфузилась и пошатнулась на месте.

На ее счастье, Шульц, который в это время успел уже обмахнуть голубым фуляром свои панталоны и лацкан фрака, сказал:

– Позволь, матушка, отдать тебе на память об этом дне вот эти безделушки.

Он вынул муфту и воротник и, подавая их Мане, добавил:

– Пусть это будет дополнением к подарку сестры твоей Берты.

– На что так много? – заговорила Маня, потерянно глядя во все стороны и прикладывая к пылающим щекам свои ручки.

– Марья Ивановна! – позвольте мне просить вас принять и от меня на память вот это, – сказал я, подавая ей пять томов Пушкина.

Маня прищурила глазки, взглянула на переплет, протянула мне обе ручки и отвечала:

– Благодарю вас: я возьму.

– А я, Марья Ивановна, не знал, что сегодня день вашего рождения и что я вас увижу нынче, – начал

Истомин. – Я принес вам то, что у меня было дома, и вы тоже будете так снисходительны – возьмете это от меня на память о моем знакомстве с вами и о вашем совершеннолети.

Истомин сбросил с картона бумагу и подал его Мане; та взглянула и зарделась.

Все мы подошли к картону и все остановились в изумлении и восторге. Это был кусок прелестнейшего этюда, приготовленного Истоминим для своей новой картины, о которой уже многие знали и говорили, но которой до сих пор никто не видал, потому что при каждом появлении посетителей, допускавшихся в мастерскую художника, его мольберт с подмалеванным холстом упорно поворачивался к стене.

На поднесенном Мане куске картона, величиною более полуаршина, была молодая русалка, в первый раз всплывшая над водою. Этюд был писан в три тона. Русалка, впервые вынырнувшая со дна речки, прыгнула на сонный берег, где дикий тмин растет и где цветут, качаяся, фиалки возле буквиц. Вся она была целомудренно закрыта тмином, сквозь стебли которого только кое-где чуть-чуть очерчивались свежие контуры ее тела. Одна голова с плечами любопытно выставлялась вперед и внимательно смотрела удивленными очами на неведомый для нее надводный мир. Никакое другое искусство, кроме живописи, не могло

так выразить всего, что выражала эта восхитительная головка. Любопытство, ужас, восторг и болезненная тревога – все это разом выступало на этих сломанных бровках, полуоткрытом ротике, прищуренных глазках и побледневших щеках. Но всего более поразило всех в этой головке какое-то странное, наводящее ужас сходство русалки с Манею. Это не был верный голбейновский портрет и не эффектная головка Греза: это было что-то такое... как будто случайное сходство, как бы портрет с двойника, или как будто это она. Маня, но в лунатизме, что ли, или в каком-то непонятном для нас восторженном состоянии.

– Она впервые видит свет. По мифологии, у них тоже есть совершеннолетие, до которого молодая русалка не может всплыть над водой, – начал мягко и приятно рассказывать Истомина. – Это очень поэтический славянский миф. Вообразите себе, что она до известных там лет своей жизни жила в кристальных палатах на дне реки; слыхала там о кораблях, о бурях, о людях, о их любви, ненависти, о горе. Она плавала в глубине, видала, как в воду опускается столб лунного света, слышала на берегах шум другой жизни; над голову ее пробегали корабли, отрезавшие лунный свет от дна речного; но она ничего, решительно ничего не видала, кроме того, что там есть у них под водой. Она знает, что ее мать когда-то утонула

оттого, что был когда-то человек, который любил ее, потом разлюбил, «покинул и на женщине женился»; но как все это там? что там такое? какие это живые люди? как там, над водою, дышат? как любят и покидают? – все это ей совершенно непонятно. И вот ее совершеннолетие исполнилось; здесь вы видите, как она только что всплыла; надводный воздух остро режет ее непривычное тело, и в груди ей больно от этого воздуха, а между тем все, что перед нею открылось, поражает ее; вдруг все это, что понималось смутно, уясняется; все начинает ей говорить своим языком, и она... Видите... Здесь, на этом куске, впрочем, нет этого, а там – на целой картине тут влево резвятся другие русалки, хохотуши, щекотуши – все молодые, красивые... Одна из них слышит, что

Птичка под кустами
Встрепенулася во мгле...

Другая шепчет:

Между месяцем и нами
Кто-то ходит по земле...

А эта вся... одна, закрывшись диким тмином, в сто глаз и столько же ушей все слушает, все видит; и не птичка, не тот, кто ходит где-то по земле, а все, все ра-

зом оковало ее, и вот она, вы видите, какая! Не знаю, впрочем, сумел ли я хоть плохо передать холсту, что думал и что хотелось бы сказать этой картиной чувству, – закончил тихо Истомин, осторожно поставив картон на свободное кресло.

Истомин был очень хорош в эту минуту. Если бы здесь было несколько женщин, впечатлительных и способных увлекаться, мне кажется, они все вдруг полюбили бы его. Это был художник-творец, в самом обаятельном значении этого слова. Фридрих Фридрихович, глядя на него, пришел в неподдельный художественный восторг. Он схватил обе руки Истомина, сжал их и, глядя ему в глаза, проговорил с жаром:

– Вы будете велики! Вы будете нашею гордостью; вы будете славою русского искусства!

Истомин покраснел, обнял Шульца и торопливо отошел к окошку, и – чудо чудное! на глазах его вдруг мелькнули первые слезы.

Черт его знает, до чего он становился прекрасен в этом расстройстве!

Я подошел к окну и стал рядом с Истоминим.

– Дьявол бы совсем взял эту глупость! – начал он мне на ухо, стараясь в то же время сморгнуть и утереть свою слезу. – Выдумать еще надо что-нибудь глупее, как прийти на семейный праздник для того, чтобы поздравить девушку и вдруг самому напроситься

на общее внимание!

Истомин нетерпеливо дернул зубами уголок своего платка и сунул его сердито в карман фрака.

Он был совершенно прав. О Мане и ее празднестве совершенно забыли. Все столпились около этюда, который теперь держал в руках пастор Абель. Даже старушка-бабушка взялась руками за колеса своего кресла и поехала, чтобы соединиться с прочими у картины. Пастор Абель держал картину в одной левой руке и, сильно откинувшись головой назад, рассматривал ее с чинной улыбкой аугсбургского исповедания; все другие жались около пасторовых плеч, а выехавшая бабушка зазираала сбоку. Однако старушке было очень хорошо видно картину, потому что она первая заговорила:

– Aber warum?...¹⁰ как она совсем выглядит похожа на Маньхен!

Все в одну минуту оглянулись на Маню, которая стояла на своем прежнем месте и смотрела на Истомина, вытягивая вперед голову, точно хотела сейчас тронуться и подбежать к нему.

– Есть сходство, – произнес с достоинством пастор.

– Совсем Маня! – подтвердила с восклицанием Ида Ивановна.

– Роман Прокофьич! Зачем это такое сходство?

¹⁰ Но почему? (нем.).

Ведь это не нарочно писано; я сам видел, как вы вырезали этот кусок из целого картона, – заговорил Фридрих Фридрихович.

Истомин обернулся, закинув назад рассыпавшиеся черные кудри, и, делая шаг к сгруппировавшейся семье, сказал:

– Это?.. это художественная вольность, которую вы должны простить мне и которую никто не вправе поставить нам ни в суд, ни в осуждение. Фантазия сама по себе все-таки фантазия человеческая; она слаба и ничтожна перед осуществленною фантазиєю природы, перед натурою. Я очень долго бился с этой головкой, и она мне все не удавалась. Для таких лиц нет много натурщиц. Наши натурщицы все слишком обыкновенные лица, а остановить первую встречную женщину, которая подходит под ваш образ, слишком романтично, и ни одна не пойдет. Настолько нет ни в ком сочувствия к искусству. В тот именно день, когда, помните, Марья Ивановна в бурю долго не приходила домой и когда мы ее искали, я в первый раз увидел ее головку и... это была именно та головка, которой мне не доставало для картины.

– Зачем же вы ее, мой голубчик, вырезали-то? – говорил с добродушным упреком Фридрих Фридрихович.

– А что-с?

– Да ведь она ж нужна вам.

– Я теперь сто раз кряду нарисую вам ее на память, – отвечал небрежно Истомин.

– Только она что-то, знаете, как будто... изменена в чем-то.

– Да, выражение, конечно... Это делает масса новых впечатлений, которые охватывают ее... Это так и нужно.

– И есть что-то страшное, – заметила бабушка.

– Да-да, именно страшное есть, – утверждал пастор, вертя мизинцем свободной руки над бликами, падавшими на нос и освещенную луной щеку русалки.

– Гм! наша Маньхен попадает на историческую картину, которую будут восхищаться десятки тысяч людей... Бог знает, может быть даже и целые поколения! – воскликнул весело Фридрих Фридрихович, оглядываясь на Маню, которая только повернулась на ногах и опять стояла на том месте, не сводя глаз с Истомина.

– Извольте, фрейлен Мария, вашу картину, – произнес пастор, подавая ей картину.

Маня взяла этюд и, зардевшись, сделала Истомину полудетский книксен.

– Нет, господа, уж потрудитесь ваши подарки сами положить на ее совершеннолетний столик, – попросила нас Софья Карловна.

– Пожалуйста! – позвала она, подходя к двери своей крошечной гостиной.

Мы все довольно торжественно прошли с своими приношениями через маленькую гостиную и коридорчик и вступили в комнату новорожденной. Комната эта была вся освежена и глядела олицетворением девственного праздника Мани. На окнах были новые белые кисейные занавески с пышными оборками наверху и с такими же буфами у подвязей; посередине окна, ближе к ясеновой кровати Мани, на длинной медной проволоке висела металлическая клетка, в которой порхала подаренная бабушкой желтенькая канарейка; весь угол комнаты, в котором стояла кровать, был драпирован новым голубым французским ситцем, и над этою драпировкою, в самом угле, склоняясь на Манино изголовье, висело большое черное распятие с вырезанною из слоновой кости белою фигурою Христа. Вся девственная постелька Мани, ничем, впрочем, не отличавшаяся от постели Иды Ивановны, была бела как кипень, и в головах ее стоял небольшой стол, весь сверху донизу обделанный белою кисеею с буфами, оборками и широкими розовыми лентами по углам. На этом столе посредине помещался на большом подносе очень хороший торт с латинскими буквами М и N. Около торта размещались принесенные сегодня пастором: немецкая библия в зеленом пере-

плете с золотым обрезом; большой красный дорогой стакан с гравированным видом Мюнхена и на нем, на белой ниточке, чья-то карточка; рабочая корзиночка с бумажкой, на которой было написано «Клара Шперлинг», и, наконец, необыкновенно искусно сделанный швейцарский домик с слюдовыми окнами, балкончиками, дверьми, загородами и камнями на крыше. На чистом липовом ящике, из которого домик этот был вынут и в который он снова мог вдвигаться, на дощечке было тщательно выписано имя Германа Вермана, а ниже год, месяц и число настоящего праздника. Рядом с этим белым столом стоял роскошный, ажурный рабочий столик, отделанный внутри зеленою тафтою. Это был подарок матери. На этом столике лежало бархатное пальто, принесенное Бертой Ивановной, и сюда же Шульц положил соборный воротник и муфту. Я положил сочинения Пушкина к стене на белом столике, а Истомин поставил на эти книги свою картину.

– Какая прекрасная работа! – сказал он, рассматривая деревянный швейцарский домик.

– Это наш добрый Герман сделал, – отвечала ему Софья Карловна.

– Прелестная, замечательная работа! – продолжал Истомин, обращаясь к Герману.

Тот заложил большой палец правой руки в петлю

своего коричневого фрака и поклонился Истомину с достоинством.

Пастор, Ида и все, кроме бабушки, были в этой комнате, и целой компанией все снова возвратились в залу, где нас ждал кофе, русский пирог с дичинным фаршем и полный завтрак со множеством всякого вина. Софья Карловна беспрестанно выбегала и суетилась, Маня сидела возле бабушки; Берта Ивановна усердно кушала, держа как-то на отлете оба тоненькие мизинца своих маленьких белых ручек. Мужчины все ели очень прилежно, но Ида Ивановна все-таки наблюдала за ними и, стоя у стола, беспрестанно подкладывала то тому, то другому новые порции.

– Ешьте, – говорила она мне, кладя второй кусок очень вкусной рыбы.

– Полноте, Ида Ивановна! не могу никак, – отпрашивался у нее я.

– Ешьте-ка, ешьте, – отвечала она с вечным своим спокойствием, не принимая от меня никаких оправданий. С другими она поступала совершенно так же, только вместо фамильярного *ешьте* на все их отговорки тихо отвечала им *кушайте*.

– Не выбрасывать же стать, – шепнул я ей возле ее локтя.

Ида Ивановна с едва заметной улыбкой толкнула меня в плечо и опять потащила кому-то новый кусок

жаркого.

Фридрих Фридрихович не уступал свояченице: как она угощала всех яствами, так он еще усерднее наливал гостей то тем, то другим вином. Даже когда пустые блюда совсем сошли со стола и половина Маничкиного торта была проглочена с шампанским, Фридрих Фридрихович и тогда все-таки не давал нам отдыха.

– Позвольте, господа, – говорил он, не выпуская никого из-за стола. – Это все требуется непременно допить.

– Помилуйте, Фридрих Фридрихович, куда же нам еще пить! – отмаливались гости ввиду целых трех бутылок шампанского с подрезанными проволоками у пробок.

– Нет, позвольте! Это совсем невозможно так оставлять, – убеждал Фридрих Фридрихович. – Открытую бутылку нельзя оставлять в хозяйстве. Это, во-первых, значит, зло оставлять, а потом от этого, наконец, прислуга балуется.

– Пожалуйста-ка, – относился он, приближая горлышко бутылки к стакану пастора.

– О, их кан ниht, либер гер¹¹ Шульц! – отмаливался пастор.

– Ничего, господин пастор, ничего; это вас подкрепит, – убеждал Шульц и, дополнив стакан его аугсбург-

¹¹ О, я не могу, дорогой господин (нем.).

ского преподобия, относился с теми же доводами к другим.

– Это вас подкрепит, – говорил он, упрямо заставляя нас непременно допить все, и прибавлял: – Пожалуйста, господа! пожалуйста, потрудитесь! пожалуйста, прошу вас, чтоб после нас люди не баловались.

Пастор, отстрадав, стукнул пустым стаканом и отдулся, а Шульц наступал на него снова, приглашая выпить «в пользу детских приютов».

– Капли не выпью больше, господин Шульц, – отказывался пастор.

– В пользу детских приютов-то, господин пастор?

– Ни за что, господин Шульц.

– В пользу детских приютов ни за что?

– О mein Gott!¹² – вздыхал сдававшийся на сильные доводы пастор.

Шульц налил ему стакан и внушительно заметил, что в пользу детских приютов и думать нельзя отказываться.

И в пользу детских приютов было действительно допито все так, что людям после нас уж не над чем было баловаться.

Вино решительно на всех оказало свое, пока, впрочем, только хорошее влияние. Все сделались сердечнее и веселее.

¹² О боже мой! (нем.).

Истомин, вставши из-за стола, отнесся с большими комплиментами к Верману.

– О, помилуйте! – сконфузился старый токарь, по-прежнему стараясь усмирить свои торчащие волосы.

– Я вам говорю не любезность, а я вам говорю просто, что я не видал такой легкой и отчетливой работы; это просто художественная... прекрасная вещь, – настаивал Истомин.

– Ну, что это? Это, так будем мы смотреть, совсем как настоящая безделица. Что говорить о мне? Вот вы! вы артист, вы художник! вы можете – ви загт мандизе!..¹³ *творить!* А мы, мы люди... мы простой *ремесленник*. Мы совсем не одно... Я чувствую, как это, что есть очень, что очень прекрасно; я все это могу очень прекрасно понимать... но я шары на бильярды делать умею! Вот мое искусство!

Истомин с неподдельным жаром взял Вермана за обе руки и, привлекая его к себе, сказал:

– Всякий, кто чувствует прекрасное, тот, либер гер Верман, художник и истинный художник.

Истомин поцеловал старика и так крепко поцеловал его и обнял, что обе крюковатые ножки Соважа приподнялись от пола, дрыгнули на воздухе и показали свои подошвы.

Маничка смотрела на все это и (может быть, мне

¹³ Как это говорится? (нем.).

это показалось) смотрела теперь именно тем самым взглядом, каким глядела из-за тмина и буквиц истоминская русалка.

Сильно подгулявшие разошлись по домам гости Норков, и разошлись с тем, чтобы вечером непременно сойтись здесь снова. Шульц хотел, чтобы мы все провели вечер у него.

– У меня свободней, очень дольше побаловать будет можно, – убеждал он тещу, говоря, что здесь у нее неловко беспокоить бабушку; но сама бабушка, которой ближе всех касалась эта отговорка, решительно восстала против перенесения Маниного праздника из материнского дома к зятю.

– Ну, так ко мне, господа, завтра зубы полоскать? – приглашал неотступный Шульц.

– Это можете, – сказала ему с тихой улыбкой близко стоявшая Ида.

– Могу-с?

– Можете, а сегодня это очень странно, что вам за фантазия пришла уводить к себе наших гостей!

– Ну да, да; у вас, Ида Ивановна, всегда всё странно. У вас, – продолжал, выходя, Шульц, – все это... цирлих-манирлих... все это на тонкой деликатности; а у нас, знаете, все попросту, по-мужицки. Так? – спросил он, ударив по плечу довольно крепко Истомина. Тот сильно вздрогнул и рассердился, не знаю, за то

ли, что Шульц так пошутил с ним, или за то, что он сам вздрогнул.

Так окончился наш сытный завтрак, а в восемь часов вечера мы снова были у Норков.

Глава седьмая

Несмотря на то, что семейство Норк, как я уже один раз сказал, жило очень скромно и мне никогда не доводилось видеть у них почти никого сторонних, но в этот вечер оказалось, что знакомство у них все-таки гораздо обширнее, чем я предполагал. Кроме семейства пастора, который явился с женою и двумя взрослыми дочерьми, набралось еще штук до восьми молодых немецких дам и девиц. Мужчин, правда, было немного: всего три какие-то неизвестные мне солидные господина, молодой помощник пастора, учитель из Анненшуле, неизбежный на всяком земном пространстве поляк с черными висячими усами, которого Шульц весьма фамильярно называл почему-то «паном Кошутом», и сын булочника Шперлинга, свежий, веселый, белокурый немец, точно испеченный в собственной булочной на домашних душистых сливках и розовом масле. Вечер шел по-немецки. Солидные господа и пастор сели за карты, курили гамбургские сигары и потягивали некрепкие пунши, а остальное все немилосердно плясало. Плясал Шульц, плясала Ида Ивановна, плясала Софья Карловна, хотя и отказывавшаяся и, наконец, даже вовсе не отказавшаяся от гросфатера, который, при общих аплодис-

ментах, протанцевала с зятем. Не танцевала решительно только одна бабушка, которая не могла оставить своего кресла, но и она сидела весь вечер и любовалась молодыми. На счастье ее, действительно было чем любоваться. Известное дело, что если не гнаться за легкостью построения рук и ног да не требовать от каждого лица особого выражения, то едва ли где-нибудь в Петербурге можно набрать столько свеженьких лиц, белых плеч и хороших бюстов, сколько увидишь их, находясь между добродетельнейшими васильевскими островитянками немецкого происхождения. Разгоревшись от кадрилей и вальсов, пышные гости Норков были точно розы: одна другой краше, одна другой свежее, и все их сочные бюсты и все их добродетельные уста говорили в одно слово:

– Oh! Wir möchten *noch* ein bischen tanzen!¹⁴

Но лучше всех, эффектней всех и всех соблазнительней на этом празднике все-таки была дочь хозяйки, Берта Ивановна Шульц, и за то ей чаще всех доставался и самый лучший кавалер, Роман Прокофьич Истомин. Как только Роман Прокофьич первый раз ангажировал БERTУ Ивановну на тур вальса и роскошная немка встала и положила свою белую, далеко открытую матовую руку на плечо славянского богатыря-молодца, в комнате даже все тихо ахнуло и зашеп-

¹⁴ О, мы хотим *еще* танцевать!

тало:

– Ein hübsches Pärchen!¹⁵ Nu da ist Mal ein Pärchen!
Ein bessers Paar kann's nicht!¹⁶

Один из солидных гостей, стоя на этот случай у дверей залы, забыл, где он и с кем он говорит, и, изогнувшись сладострастным сатиром, таинственно шептал на ухо Шульцу:

– Вот бы, я говорю, этой даме какого мужа-то надо.

– И я то же самое думаю, – отвечал спокойно Фридрих Фридрихович и с невозмутимой уверенностью в своем превосходстве продолжал любоваться могучим Истоминым, поворачивающим на своей руке вальяжную и, как лебедь, красивую БERTУ Ивановну.

Чуть только эта пара окончила второй круг и Истомин, остановившись у кресла БERTЫ Ивановны, низко ей поклонился, все, словно по сигналу, захлопали им в ладоши и усерднее всех других хлопал сам пробиравшийся к жене Фридрих Фридрихович.

– О вы! – говорил он, улыбаясь и грозя пальцем стоявшему возле БERTЫ Ивановны Истомину. – Нет, уж вы меня извините, я с вами мою жену на необитаемый остров ни за что не отпущу.

БЕРТА Ивановна вспыхнула. Истомину тоже эта выходка не понравилась.

¹⁵ Красивая пара!

¹⁶ Вот так пара! Лучше этой пары уж быть не может!

– Отчего же это? – отвечал он с недовольной гримасой Шульцу.

– Отчего? Ну, батюшка, не хитрите, мы вас не сегодня знаем! Нет, Бертинька, нет, мой друг, как ты хочешь, а я тебя с ним на необитаемый остров не отпускаю.

– Фридрих! – произнесла, краснея и качая с упреком головкой, Берта Ивановна, которую все это конфузило, но в то же время, однако, было в свою очередь и довольно приятно.

– Ну, ну, ну, мамушка, пушу уж, пушу, – отвечал Фридрих Фридрихович, целуя женину руку и отходя затем под руку с тещей в сторонку для каких-то хозяйственных совещаний.

Всех незаметнее на этом танцевальном вечере были Ида Ивановна и Маня. Ида Ивановна танцевала много и с чисто немецким упоением, но все-таки она была совершенно незаметна, а Мани совсем даже было и не видно. Истомин, как вежливый кавалер, пригласил на одну кадрили и один вальс Иду Ивановну и потом ангажировал на следующий вальс Маню. Миниатюрная Маня рядом с Истоминным смотрела совсем ребенком. Крошечной, грациозной пташечкой она носилась возле сильной фигуры Истомина, совсем лежа на его руке и едва касаясь пола своими крохотными, вовсе не немецкими ножками. Бал Нор-

ков заходил уже за полночь; где-то за стеною начал раздаваться стук посуды и ложек, и солидные господа уже не раз посматривали на свои брегеты. Танцам приходил конец; нужно было ужинать и после ужина расходиться, а сочные плечи и добродетельно-пряные уста еще просили потанцевать.

– Oh! nur *noch* ein Mal! Nur noch ein einziges kleines Mal! (О! *еще* один разочек! Один маленький, крошечный разочек!) – говорили, складываясь сердечком, пряные губки.

Фридрих Фридрихович вступился за их спасенье; он дал солидным господам по настоящей гаванской сигаре, попросил тещу повременить с ужином; усадил Иду Ивановну за рояль и дал черноусому поляку поручение устроить какую-нибудь мазурку похитрее.

– Пан Кошут! бондзь-ну пан ласков, зроби нам мазуречку... этакую... – Шульц закусил губу и проговорил: – Этакую, чтоб кровь старая заговорила.

– Моге, той раніе, моге,¹⁷ – отвечал, расшаркиваясь, пан Кошут и вдруг вошел в свою сферу.

Он попросил немножко в сторону одну из дочерей пастора и, переговорив с нею, объявил оригинальную мазурку *par confidence*.¹⁸ Условиями этой мазурки требовалось, чтобы дамы сели по одной стене, а

¹⁷ Ёгу, пан, могу (польск.).

¹⁸ По доверенности (франц.).

мужчины стали по другой, напротив дам, и чтобы дамы выбирали себе кавалеров, доверяя имя своего избранного одной общей доверенной, которою и взялась быть младшая дочь пастора. Каждый мужчина должен был угадать, какая дама его выбрала, выйти и перед тою остановиться. Если же мужчина ошибался – при чем обыкновенно начинался веселый хохот, – то плохой отгадчик, при общем смехе, возвращался с носом на свое место и выходил следующий, и затем, когда эта пара кончала, дама, избравшая прежнего кавалера, отосланного за недогадливость за фронт, должна была сама встать, подать руку недогадливому избраннику и танцевать с ним. Разумеется, при таких условиях, особенно с незнакомыми почти дамами, мужчины беспрестанно ошибались, и при смене каждой пары в зале Норков начинался самый веселый хохот. Наконец дошла очередь и до Истомина. Он стал предпоследним, после него оставался только один дирижер мазурки, сам черноусый Кошут. Истомин заметил давно, что все, подходившие к Мане, отходили от нее ни с чем и что она сама никого не выбирала, и потому, как только до него дошла очередь, он прямо разошелся к Мане, остановился перед нею и поклонился.

Маня слегка покраснела и тихо сказала:

– Я вас не выбирала.

Все дружно засмеялись.

Истомин засмеялся так же искренно, как все те, кому он доставил это удовольствие, и, махнув рукою, быстрым шагом удалился к мужской стене.

На его место, разглаживая усы, выступал поляк.

– На ура иду! – сказал он, сталкиваясь с Истоминным и, остановясь перед Манею, щелкнул каблуками и поклонился а là Кшесиньский.

Ко всеобщему удивлению, Маня встала и подала ему свою ручонку.

Ида Ивановна заиграла. Поляк вежливо остановил ее и вкрадчивым голосом сказал:

– Нельзя ли старую мазурку Хлопицкого?

Ида Ивановна покопалась в куче лежавших на фортепиано нот, достала оттуда одну тетрадь, положила ее на пюпитр, и раздался Хлопицкий.

Поляк сжал ручку Мани, выпал левой ногою, топнул, и пошел, и пошел. Как перышко, привязанное к легкой воланной пробке, мелькала возле него Маня. Отчаянным мазуром летал он, тормоша и подбрасывая за руку свою легкую даму; становился перед нею, не теряя такта, на колени, вскакивал, снова несся, глядел ей с удалью в ее голубиные глазки, отрывался и, ловя на лету ее руки, увлекал ее снова и, наконец, опустившись на колени, перенес через свою голову ее руку, раболепно поцеловал концы ее пальцев

и, не поворачиваясь к дамам спиной, задом отошел на свое место.

Зальца трещала от рукоплесканий, и переконфуженная Маня не знала, куда ей смотреть и куда ей деваться.

После такого танцора нелегко было пуститься в мазурку даже и в этом приятельском, фамильном кружке, и Истомин начал надеяться, что авось-либо его никто не выберет.

Но... в ряду дам шел тихий смех, шепот и подергивание.

– *Aber das muss; nichts zu machen, das muss, das muss,*¹⁹ – повторяла стоявшая у женского фланга дочь пастора, и вот величественная Берта Ивановна, расправляя нарочно долго юбку своего платья, медленно отделилась от стула и стала застенчиво, но с королевской осанкой.

– *Das muss! das muss!* – настойчиво кричали ей сквозь веселый смех со всех сторон женщины.

Берта Ивановна засмеялась и, закусив нижнюю губку, тронулась королевской поступью к Истомину. Они подали друг другу руки и стали на место.

Ида Ивановна смотрела на них молча и серьезно: в это время Ида Ивановна смеялась. Нет, в самом деле, удивительная девушка была эта Ида Ива-

¹⁹ Но так *должно*; ничего не поделаешь, *так надо, так надо*(нем.).

новна! При своей великой внешней скромности она страсть как любила пошалить, слегка подтрунить над кем-нибудь, на чей-нибудь счет незлобно позабавиться; и умела она сшалить так, что это почти было незаметно; и умела она досыта насмеяться так, что не только мускулы ее лица, а даже самые глаза оставались совершенно спокойными. Надо было очень хорошо знать эти глаза, чтобы по легкому, едва заметному изменению их блеска догадаться, что Ида Ивановна хохочет во всю свою глубоко спрятанную душу.

В эту минуту ей хотелось посмеяться разом над madame Шульц и над Истоминым, и она оставила их постоять на виду до тех пор, пока мешавшаяся Берта Ивановна покраснелась до non plus ultra²⁰ и, наконец, крикнула:

– Да ты по крайней мере играй же, Ида!

– Играйте, Иденька! – проговорили на женской стороне.

– Spielen Sie doch, Ida,²¹ – одновременно крикнули ей с некоторою строгостию зять и Софья Карловна.

– Я не знаю, какую они хотят мазурку?

Берта Ивановна назвала очень лянгамную мазурку; Ида заиграла ее уж совсем *langsam*.²²

²⁰ Дальше идти некуда (лат.).

²¹ Играйте же, Ида (нем.).

²² Медленно (нем.)

Это собственно и было, впрочем, нужно. Держась редкого, медленного темпа музыки, Истомин без всякого мазурного ухарства начал словно репрезентовать под музыку свою прекрасную королеву, словно говорил: а нуте-ка – каковы мы вот так? а нуте-ка посмотрите нас еще вот этак? да еще вот этак?

Никто им, этим красавцам, не хлопал; но все на них смотрели с удовольствием.

– Красивая пара! прелесть какая красивая! – опять шептали о них потихоньку.

Берта Ивановна с Истоминным должно быть это слышали, а если не слышали, так чувствовали. Берта Ивановна не гнула головы набок, как французенка, и не подлетала боком, как полька, а плыла себе хорошей лебедью и давала самый красивый изгиб своей лебяжьей шее. Ида тоже любовалась сестрою, и ей вздумалось еще подшутить над нею. Она быстро переменяла аккорд и заиграла вальс. Истомин улыбнулся Иде Ивановне, проворно обнял талию madame Шульц и начал по-прежнему вальсировать, грациозно поворачивая свою роскошную даму. Иде Ивановне было и этого мало: дав паре сделать два круга по зале, она неожиданно заиграла самую странную польку. Художник и сама madame Шульц засмеялись.

– Хорошо же! – сказал Истомин и, сложив свои руки на груди, стал полькировать с Бертой Ивановной

по самой старинной моде. Развеселившаяся Берта не дала сконфузить своего кавалера: шаля, закинула она назад свои белые руки и пошла в такт отступать. Гости опять начали им аплодировать и смеяться.

– Ах вы, ненавистные красавцы! никак не собьешь их! – спокойно шепнула Мане Ида Ивановна и вдруг громкими аккордами взяла:

Уж как по мосту-мосту,
По калиновому...

– Вот что!.. Ну, так выручайте же, Берта Ивановна! – крикнул Истомин и пошел русскую, как и сам известный цыган Илья ее не хаживал.

Не посрамила и Берта Ивановна земли русской, на которой родилась и выросла, – вынула из кармана белый платок, взяла его в руку, повела плечом, грудью тронула, соболиной бровью мигнула и в тупик поставила всю публику своей разудалою пляскою. Поляк с своей залихватской мазуркой и его миньонная дамочка были в карман спрятаны этой парой.

Полы машутся, раздуваются... —

пел, хлопая ладошами, Фридрих Фридрихович, не зная, что бы ему еще можно сделать от радости. На выручку ему Истомин подхватил:

То-то лента, то-то лента,
То-то алая моя!
Ала, ала, ала-лб —
Мне сударушка дала.

С этим Истомина повернул Берту Ивановну за одну ручку около себя, низко ей поклонился по-русски и посадил ее на место.

– Сто-то-то-й! стойте! стойте! стойте! – кричал сквозь аплодисменты и крики *bravo*²³ Фридрих Фридрихович. – Нет! по-нашему, по-русски, так не расходятся!

Истомин нагнулся и поцеловал у Берты Ивановны руку.

– Н-нет-с! Нет-с! и это все не то, не то! Это опять по-заморски, а у нас *кто с кем танцует, тот того и целует*, – говорил Шульц, сводя за руки Истомина с своею женою.

– Фридрих! Фридрих, ты с ума сошел! – шептала, красная как вишня, Берта Ивановна.

– *Кто с кем танцует, тот того и целует*, это раз сказано и навсегда крепко, – настаивал ничему не внимая, неумолимый Шульц.

– С моей стороны препятствий нет, – отвечал Исто-

²³ Браво (*итал.*)

мин.

– А жена, как дьякон читает, должна во всем повиноваться своему мужу, – зарешил Шульц.

– Ну, Фридрих! – сказала, улыбнувшись, Берта Ивановна и подвинула свою голову к художнику весьма спокойно, но тотчас же оторвала свои влажные уста от сухих пунцовых губ Истомина.

– О мой Фридрих, как я устала! – произнесла она торопливо, кидая на плечи мужа обе свои руки и поспешно целуя его в обе щеки, как бы желая этими законными поцелуями стереть с своих губ поцелуй Истомина.

– Это поцелуй позволительный, – говорил Шульц, объясняя свою оригинальную выходку несколько изумленным немцам.

– Позволительный или позволенный, вы хотите сказать? – спросил Истомин.

– И позволительный и позволенный, – отвечал Фридрих Фридрихович.

Художник молча отошел к окошку и надулся.

В зале стали накрывать на стол; дамы вышли поотдохнуть в спальню Софьи Карловны, а мужчины жались по углам.

– Что с вами такое вдруг случилось? Какая муха вас укусила? – спросил я, взяв за руку Истомина, на лице которого я уже давно привык читать все его душевные

движения.

– Так... не по себе, – отвечал он нехотя.

– Пульс неровный и частый, – пошутил я, держа его за руку.

– Какой уж, однако, в самом деле, колбасник этот Шульц; терпеть я его не могу в некоторые минуты! – проговорил, нервно кусая ногти, Истомин.

Пунцовые губы его тихо вздрагивали под черными усами и говорили мне, что в беспокойной крови его еще горит влажный поцелуй Берты Ивановны. Если бы пастор Абель вздумал в это время что-нибудь заговорить на тему: «не пожелай жены искреннего твоего», то Роман Прокофьич, я думаю, едва ли был бы в состоянии увлечься этой проповедью.

У маленького столика, перед соленой закуской, поданной к водке за минуту до ужина, Шульц опять было начал шутить с Истоминым.

– Нет, батюшка мой, на дуэль! и слушать ничего не хочу; на дуэль! Помилуйте, совсем сбил бабу с толку: и по-русски плясать пошла и сама его выбирает себе. Нет-с, мы-с тобой, родной мой, без дуэли не кончим!

– Кончите, – сухо ответил Истомин и отошел к большому столу.

Он упорно промолчал все время за ужином, ел очень мало и почти ничего не пил. От угощений Шульца он отделялся нетерпеливо и решительно:

– Не хочу и не буду пить.

– В пользу детских приютов! – упрашивал Шульц.

– Довольно повторяться; все это совершенно напрасно будете говорить, – отвечал он хлебосольному Шульцу.

Как все женские любимцы, Истомин был очень капризен, и чем более за ним ухаживали, чем более его умащивали, тем он обыкновенно становился хуже. Его нужно было не раздражать и не гладить по головке, а оставлять самому себе, пока он уходится в совершенном покое.

Практический Шульц или не знал этой струнки в Истомине, или поддерживавшееся понемножечку целый день слегка праздничное состояние головы Фридриха Фридриховича делало его несколько бестактным. Чем Истомин более ершился, тем внимательнее и любезнее становился к нему Фридрих Фридрихович. Знакомство с знаменитостями было у Фридриха Фридриховича действительно его ахиллесовою пятою. Эта слабость заставляла его делать из Истомина известность столь крупную, какою он в самом деле не был, – льстить ему и поглаживать его разнузданности, которую художник считал в себе страстностью. Теперь эта слабость Шульца разжигала в нем желание во что бы то ни стало показать своим, что этот замечательный художник Истомин ему, Фридриху Шульцу, приходит-

ся самый близкий друг и приятель. Если брать мериллом дружбы деньги, что, может статься, будет и не совсем неосновательно, то если бы Истомин попросил у Шульца займы на слово десять тысяч рублей, Шулец бы только обрадовался возможности услужить ими своему другу; если бы у него на этот случай не было в руках таких денег, то он достал бы их для друга со дна моря. А какой ему Роман Прокофьевич был друг? Да никакой!

О господи, господи! сколько удивительных коньков есть у странствующего по лицу земли человечества! И чего ради все это бывает?! Чего ради вся эта суета, давка и напраснейшая трата добрых и хороших сил на ветер, на призрак, на мечтание! Сколько в самом деле есть разных этих генералов Джаксонов, и на сколько ладов каждый человек умудряется умереть за своего Джаксона!

Роман Прокофьевич был не худой человек в иных случаях, даже добрый человек, способный иногда растрогаться чужим горем до слез, увлечься до некоторого самоотвержения, но *любить* он никого не мог, потому что *ничем* ему было любить. У него с рода-родясь не было никаких друзей, а были у него только кое-какие невзыскательные приятели, с которыми он, как, например, со мною, не был ничем особенно связан, так что могли мы с ним, я думаю, целый свой век

прожить в ладу и в согласии вместе, а могли и завтра, без особого друг о друге сожаления, расстаться хоть и на вечные времена. Женщин же, которые его любили и которых он и сам в простоте сердца называл своими «любовницами», он обыкновенно ставил в положения тайных наложниц – положения, исключаящие из себя все, что вносит в жизнь истинную поэзию и облагораживает ближайшие отношения женщины к человеку, перед которым она увольняет сдерживающую ее скромность.

Роман Прокофьич, впрочем, был человек необезличивший, и женщины любили его не за одну его наружность. В нем еще цела была своя *натура*— натура, может быть, весьма неодобрительная; но все-таки это была *натура* из числа тех, которые при стереотипности всего окружающего могут производить впечатление и обыкновенно производят его на женщин пылких и всем сердцем ищущих человека, в котором мерцает хотя какая-нибудь малейшая божия искра, хотя бы и заваленная целою бездною всякого греховного мусора.

Вы можете считать его даже уродом, даже уродом, пожалуй в наш век и невозможным, но тем не менее он живой человек, и на Васильевском острове еще непременно есть зеркала, в которые он и до днешнего дни смотрится.

На Васильевском острове есть свои особенные, островские доживающие типы; это, так сказать, *василеостровские могикане*. В ряду этих могикан самые оригинальные и близкие к уничтожению – прихотники, люди, кажется, нигде, кроме Острова, невозможные, люди, усвоившие себе свои, весьма исключительные прихоти и возводящие эти прихоти во что-то законное и неотразимое. Здесь еще, да, здесь, не в далеком провинциальном захолустье, а в Петербурге, в двух шагах от университета и академий сидят, например, как улитки, уткнувшись в самый узкий конец своей раковины, некоторые оригинальные ученые, когда-то что-то претерпевшие и с тех пор упорно делающие в течение многих лет всему обществу самую непростительную гримасу. Они употребляют все зависящие от них средства быть не тем, чем они созданы, изолироваться и становиться «не от мира сего». Должно признаться, что некоторые из них достигают в этом искусстве до такого совершенства, что действительно утрачивают, наконец, всякую способность понимать свое время: один такой оригинал, выползая на минуту из своей раковины, положим, не находит для себя безопасным ни одного кресла в театре; другой стремглав бежит от извозчика, который по ошибке завернет с ним не в тот переулок, куда ему сказано; третий огулом смущается от взгляда каждого человека,

и все они вместе готовы сжечь целый исторический труд свой, если на них искоса посмотрит кухарка, подавшая приготовленное для них жаркое. Ни прежняя жизненная деятельность, ни новые труды не дают основания сомневаться, что у этих людей головы способны работать здраво, когда захотят, чтобы они работали. Выпяливать глаза и забиваться в угол для этих людей, очевидно, их прихоть: им, вероятно, и самим нелегко служить этой прихоти, но они непреклонны; девиз их русская пословица: «тешь мой обычай, пляши в головах». Отстать от этой прихоти – для них значит перестать быть самими собою: в ней крепость их слабости.

Еще более странных и еще менее достойных извинения прихотников встречается здесь среди людей, надышавшихся в юности воздухом василеостровской Академии художеств и восприявших на себя ее предания. Вечное детство и, к несчастью, весьма нехорошее, испорченное детство этих людей поистине изумительно. Германский студент, оканчивая курс в своем университете и отпировав с товарищами последнюю пирушку, перестает быть беспокойным буршем и входит в общество людей с уважением к их спокойствию, к их общественным законам и к их морали; он снимает свою корпоративную кокарду и с нею снимает с себя обязательство содержать и вносить

в жизнь свою буршескую, корпоративную нравственность. Бурш спешит сделаться гражданином страны своей и человеком *своего времени*, принося внутреннюю присягу совести перед кодексом нравственности более широким, чем кодекс, регламентирующий несложные отношения одинокого бурша. Таким образом, буйный бурш, как бы он ни провел время своего студенчества, не вносит из своей корпорации в общество никаких преданий, обязывающих его враждебно идти вразрез со всеми людьми земли своей. Не то представляет наш художник, и именно в это время уже решительно только один наш, русский художник, человек по преимуществу еще очень мало развитый или, чаще всего, вовсе неразвитый и кругом невежественный. С тех пор как Екатерина Вторая построила на островской набережной Большой Невы храм *свободным художествам*, заведение это выпустило самое ограниченное число замечательных талантов и довольно значительное число посредственности, дававшей некогда какие-то задатки, а потом бесследно заглохшей. Все эти таланты и посредственность, а вкупе с нею и вся художественная бездарность вынесли из воспитательной среды этого заведения художественные прихоти великих дарований: они любят поощрять в себе разнузданность страстей и страстишек, воспитывают в себе характеры примитивные и

бредят любовью к женщинам и любовью к природе, не понимая самых простых обязательств, вытекающих из любви к женщине, и не щадя природы человека в самых глубочайших недрах человеческого духа. Все поколения русской художественной семьи, начиная с тех, которые видели на президентском кресле своих советов императрицу Екатерину, до тех, при которых нынче обновляется не отвечающее современным условиям екатерининское здание, – все они отличались прихотничеством, все требовали от жизни чего-то такого, чего она не может давать в это время, и того, что им самим вовсе не нужно, что разбило бы и разрушило их мещанские организмы, неспособные снести осуществления единственно лишь из одной прихоти заявляемых художественных запросов. Кроме известного числа ловких людей, которые в известной поре своего возраста являют одинаковую степень сообразительности, не стесняясь тем, прошла ли их юность под отеческим кровом, в стенах пажеского корпуса, в залах училища правоведения или в натуральных классах академии, кроме этих *художников-практиков*, о которых говорить нечего, остальное все очень трудно расстается с отживающими традициями. На нашей уже памяти доживало поколение художников, проводивших бульшую половину своей жизни в пьяном виде. Академическое предание убеж-

дало этих людей, что трезвый, воздержный и самообладающий художник вовсе не художник; оно оправдало эту порочную слабость, делало ее принадлежностью художника и насаждало около стен василеостровской академии целый класс людей, утверждавших за собою право не владеть собою, ибо страсти их велики без меры и головою выше всяких законов. Сила предания тиранствовала над этими нравами до тех пор, пока общественное чуждательство от сближения с людьми, пьянствующими *ex professo*²⁴ вдруг показало тогдашним художникам, что они могут остаться за флагом, ибо на смену их является новое поколение, не манкирующее явно благопристойностью. Освободив себя от тирании этого предания, нынешний художник уже не пренебрегает многим, что может быть пришлифовано к нему, не нарушая его художественного настроения: он отдал публичным канканерам свои небрежно повязанные галстуки, уступил «болванам петербургского нигилизма» длинную гривку и ходит нынче совсем человеком: даже немножко читает. Оцивилизовавшись внешним образом, василеостровский художник, однако, упорнейшим образом хранит в себе еще последнее завещание старых преданий: он боится давать взрасти внутри себя человеку самообладающему. Он и до нынешнего

²⁴ Со знанием дела (*лат.*).

дня верит, что это самообладание может уничтожить в нем художника, и считает своею обязанностью приносить все в жертву прихотей, по преданию отличавших прежних людей его среды. Выражается это очень странно, в виде *страстности*; но это не страстность, заставляющая современного человека хоть на минуту перенестись в эпоху нибелунгов, олимпийских богов и вообще в эпохи великих образов и грандиозного проявления гигантских страстей: это в жизни прихоть, оправдываемая преданиями; в творчестве – служение чувственности и неуменье понять круглым счетом ровно никаких задач искусства, кроме задач сухо политических, мелких, или комфортативных, разрешаемых в угоду своей субъективности. Это просто неотразимое влияние кружка и особенностей воспитания, исключаящих у нас возможность появления Рубенса, Тинторето, Тициана и Веласкеца, но зато производящих бездарнейших людей да учителей рисования или чиновников академии да художников Истоминых. Здание Академии художеств начинают исправлять и переделывать в год открытия другого здания, в котором общество русское, недавно судимое при закрытых дверях, само в лице избранных людей своих станет судьей *факта* по совести и по убеждению внутреннему. Вровень с карнизами этого здания приподнимется и станет во главе угла камень, который дол-

го отвергали зиждущие: встанет *общественное мнение*, встанет *правда народа*. Опера-фарс «Орфей в аду», поставленная на русской петербургской сцене зимою, предшествовавшей открытию в столице здания суда, представляла *общественное мнение* одетым в ливрею, дающую ему вид часовой будки у генеральского подъезда; но близок час, когда дирекция театров должна будет сшить для актрисы Стрельской, изображающей «*общественное мнение*», новую одежду. Рисунок этой одежды пускай внимательно обсудят последние могикане екатерининского храма «свободным художествам», ибо в этой одежде *общественное мнение* выйдет из будки, наложит свою правдивую десницу на все дела, ныне снисходительно оправдываемые заблуждениями, и неліцеприятно скажет свое безапелляционное: *виновен*.

Каковы бы ни были свойства тех печальных случайностей, которые дали строителю академии Кокоринову мысль, совершив свою работу, удавиться в построенных им стенах, а великому в истории русского искусства Карлу Брюллову другую, несколько банальную мысль снять на границе России белье, платье и обувь и нагишом перейти в Европу, где его иностранные друзья приготовили ему новое, не бывавшее в России платье, – тут, в обеих этих выходках – строителя академии и знаменитейшего из ее профессо-

ров, есть что-то, отчего можно задуматься. Ученики Брюллова должны бы, кажется, припомнить этот аллегорический призыв к обновлению и сбросить свои демонические плащи, время которых, увы! не возвратно минуло. В наше время неудобно забывать, что как выпяленные из орбит глаза некоторых ученых, смущающихся взглядами подающей им жаркое кухарки, обуславливают успех людей менее честных и менее ученых, но более живых и чутких к общественному пульсу, так и не в меру выпяливаемые художественные прихоти и страсти художников обуславливают успех непримиримых врагов искусства: людей, не уважающих ничего, кроме положения и прибывка, и теоретиков, поставивших себе миссией игнорированье произведений искусства и опошление самих натур, чувствующих неотразимость художественного призвания.

Время громко говорит художникам: берите из своих преданий все, что не мешает вам быть гражданами, полными чувств гражданской доблести, но сожгите все остальное вместе с старыми манкенами, деланными в дни младенчества анатомии и механики, и искренне подайте руку современной жизни.

Как ни старо аллегорическое сравнение жизни с морем, но не мешает иногда вспомнить и старое. Море выбрасывает все, что не умеет держаться на его вол-

нах, борясь с дыханием бурь и с грозой непогоды, но оно выбрасывает и то, что падает на дно его бездн, будучи чуждо этим глубоким безднам.

Возвращаемся, впрочем, к нашим пирующим немцам и к их своенравному гостю.

Глава восьмая

Чем упрямее дулся Роман Прокофьич, тем усердней волочился за ним Фридрих Фридрихович. Не находя места прямому ухаживанию, он начинал это издали, самыми окольными путями. Маневры Шульца в этом случае были презанимательны, и хотя это довольно часто напоминало «намеки тонкие на то, чего не ведает никто», но Истомин понимал их, и все это, что называется, его все более накручивало и заводило. А Фридрих Фридрихович все-таки продолжал усердствовать. Он даже до того увлекся своей внимательностью, что в присутствии всех солидных немцев и самого пастора Абеля начал окончательно объявлять себя человеком русским и отдавать тонкое предпочтение всему русскому. Никогда не изобличая особенного знакомства с русской историей и геральдикой, Шульц вдруг заговорил о Строгановых, о госте Петре Строганове и немце Даниле Эйлофе, восставших за Шуйского против царика Тушинского. Тут в этих речах было все: и желание бортоваться борт о борт с фамилией Строгановых, и похвала Эйлофу, «немцу греческой веры», и похвала самой вере греческой, и готовность Шульца во всем сделаться вторым Эйлофом.

От старых дней Шульц перешел и к настоящему времени.

– Что ж, – говорил он с мягчайшею скромностью. – У нас, в России, теперь, особенно при нынешнем государстве, житье людям самое лучшее, как в чужих краях.

От вопросов столь крупной, так сказать, государственной важности дело точно в том же направлении доходило и до частных: Шульц начал хвалить нашу общественную жизнь, наш Петербург с его каналами, мостами и дворцами.

Кто-то похвалил Берлин.

– Помилуйте! – вступился Шульц. – Ну что там за Берлин! воробью летом напиться негде; а ведь у нас, ведь это я, ей-богу, не знаю – ведь это Венеция!

– Да и лед в мае плавает, – подсказал Истомин.

Шульц рассмеялся и ударил Истомина товарищески по плечу.

В это время кто-то заговорил о театрах; какие театры в Берлине и в Вене; вспомнили о Янаушек и о Газе.

– Что ж Газе! Ну, что ж такое Газе! – восклицал с кислую миною Фридрих Фридрихович поклонникам немецкого Гаррика. – Видел-с я и Газе и Дависона, а уж я не говорю об этом черте, об Ольридже... но... но, я спрашиваю вас... ну что же это такое? Конечно, там в Отелло он хорош, ну ни слова – хорош; но ведь это... ведь это все-таки не то же, например, что наш

Василий Васильевич, который везде и во всем артист.

На лицах немцев выразилось общее недоумение и даже перепуг.

Один недоумевающий немец, остолбеневший с куском говядины во рту, торопливо пропустил глоток вина и спросил:

– Это какой Василь Васичь?

– Да Самойлов-с.

– А-га, Самойлов! – произносил недоумевающий немец, точно проглатывал в несколько приемов большую маринованную устрицу.

– Да-с, да, Самойлов! Что может сравниться, я говорю, когда он произносит это, знаете: «О, защитите нас, святые силы неба!» О, я вам скажу, это не шутка-с!

– Очень хорошо, – соглашался недоумевающий немец, проглатывая вторую устрицу.

– Ну, зато уж опера русская! – заводила, покачивая голову, булочница Шперлинг.

– Да, опера того... нехороша была, не теперь-с, а *была!* – отвечал с соболезнаванием Фридрих Фридрихович, – но певцы хорошие все-таки всегда были. Итальянцы там, конечно, итальянцами; но да-с, а я ведь за всех этих итальянцев не отдам вам нашего русского Осипа Афанасьевича. Да-ас! не отдам! Осипа Афанасьевича не отдам!

– Кто это Осип Афанасьевич? – осведомлялся опять недоумевающий немец.

– Осип Афанасьевич! А вы такой башибузук, что не знаете, кто такой Осип Афанасьевич! Откуда вы приехали?

– Что ж такое... я ведь, кажется... ничего... – бормотал, испугавшись, немец.

– Ничего! Нет, я вас спрашиваю: откуда вы к нам в Петербург приехали?

Немец встревожился и даже перестал жевать. Меняясь в лице, он произнес:

– Да, да, да; конечно, конечно... *ich weiss schon...*²⁵ это высочайше...

– Перестаньте, пожалуйста, бог знает что говорить, это высочайший бас! понимаете вы: это Петров, бас! Осип Афанасьевич – наш Петров! – разъяснил ему более снисходительно Фридрих Фридрихович. – Певец Петров, понимаете: певец, *певец!*

– Петттроф, певец, – улыбался, блаженно успокоившись, немец.

– Да-с; это бархат, это бархат! Знаете, как у него это!

Друзья! там-там-там-там-та-ра-ри,
Друзья! том-том-та-ра-ра-ра,
Трам-там-там-там-там-та-ра-ри,

²⁵ Я уже знаю (*нем.*).

Тром-том-том-та-ра-ра-ра!

Фридрих Фридрихович напел кусочек из известной в репертуаре Петрова партии Бертрама – и взглянул исподлобья на Истомина: тот все супился и молчал. С каждым лестным отзывом Фридриха Фридриховича, с каждой его похвалой русской талантливости лицо художника подергивалось и становилось нетерпеливее. Но этой войны Истомина с Шульцем не замечал никто, кроме Иды Ивановны, глаза которой немножко смеялись, глядя на зятя, да еще кроме Мани, все лицо которой выражало тихую досаду.

Гости поотошли в сторону от своих обыкновенных тем и говорили о музыке или собственно бог знает о чем говорили.

Собственная особа Фридриха Фридриховича все больше увлекалась артистическим патриотизмом: он сорвался с петель и уж немножко хлестаковствовал:

– Самойлов... – говорил он. – Я с ним тоже знаком, но это... так вам сказать, он не простец: он этакий волк с клычком; Ришелье этакой; ну а Петров, – продолжал Шульц, придавая особенную теплоту и мягкость своему голосу, – это наш брат простопур; это *душа!* Я, бывало, говорю ему в Коломягах летом: «Ну что, брат Осип Афанасьич?» – «Так, говорит, все, брат Шульц, помаленьку». – «Спой», прошу, – ну, другой раз споет,

а другой раз говорит: «Сам себе спой». Простопур!

Слушая Фридриха Фридриховича, гости, ожидавшие ужина, так и решились держаться артистических вопросов.

Кто-то начал рассказывать, что Леонова «тоже воспевает», а кто-то другой заметил, что надо говорить не «воспевает», а «поят»; еще кто-то вмешался, что даже и не «поят», а «спаивают», и, наконец, уж вышло, что никто ничего не мог разобрать. Опять потребовалось посредство Фридриха Фридриховича, который долго разъяснял разницу понятий, выражаемых словами: «пить», «петь», «паять», «воспевать» и «спаивать». Выходило черт знает что такое несуразное, что Леонова то поет, то пояет, то воспевает, то спаивает. Ухищряясь выговаривать искомое слово как можно правильнее, кто-то один раз сказал даже «потеет»; но Фридрих Фридрихович тотчас же остановил этого филолога, заметя ему:

– Ну, уж сделайте вашу милость – все, что вам угодно, только не потеет. Этого даже, пожалуйста, и не говорите никогда; никогда этого нигде не говорите, потому что это не говорится-с, да, не говорится-с.

После ужина гости скоро стали прощаться. Семейство пастора и все солидные господа и их дамы разошлись первые. Фридрих Фридрихович удержал в зале только меня, Истомина, поляка, испеченного в соб-

ственной булочной розового Шперлинга и одного солидного господина.

– Ведь это напрасно, – говорил ему Истомин, – я ничего не стану пить.

– Ну-с, это мы будем видеть, как вы не выпьете! – отвечал Шульц.

Истомин поставил на стол свою шляпу, взял с окна принесенный Манею том Пушкина, придвинулся к столу и начал смотреть в книгу.

Через залу прошла в магазин (из которого был прямой выход на улицу) Берта Ивановна. Она не хотела ни торопить мужа домой, ни дожидать его и уходила, со всеми раскланиваясь и всем подавая руки. Ее провожали до дверей Ида Ивановна и Маня. Я встал и тоже вышел за ними.

– Устала ужасно я, – жаловалась Берта Ивановна, когда я застегивал на ней шубу.

– Очень уж вы, – говорю ей, – расплясались.

– Ах, я ведь люблю поплясать!

– И ваш Истомин-то... Ну, я не думала, что он такой кузнечик, – проговорила Ида Ивановна.

– Совсем странно, – тихо сказала Маня.

– Он совсем испугал меня... Ну, Фридрих! ну, погоди, я тебе это припомню! – закончила Берта Ивановна, относясь к зале, из которой слышался голос мужа.

Я проводил БERTУ Ивановну до дому и тем же пу-

тем возвратился. Когда я пришел назад, в магазине была совершенная темнота, а в зале компания допивала вино и Фридрих Фридрихович вел с солидным господином беседу о национальных добродетелях.

– О, не думайте! – говорил он солидному господину. – Наш немецкий народ – это правда, есть очень высокообразованный народ; но наш русский народ – тоже очень умный народ. – Шульц поднял кулак и произнес: – Шустрый народ, понимаете, что называется шустрый? Здравый смысл, здравый смысл, вот чем мы богаты!

– Ну да; ну позвольте: теперь будем говорить Петербург. – Немец оглянулся по сторонам и, видя, что последняя из дам, Ида Ивановна, ушла во внутренние апартаменты, добавил: – Женитьбом пренебрегают, а каждый, как это говорится, имеет своя сбока прибука. Чем это кончится? Это как совсем Париж.

– «Сбоку припека» говорится, – поправил Фридрих Фридрихович и продолжал в другом тоне: – Ну, только тут надо соображать, какие тут есть обстоятельства. Это нельзя не соображать.

– Это совсем не отвисит от обстоятельств, – отвечал, махнув рукою, немец.

– То есть, положим, по-русски говорится *независит*, а не «не отвисит», ну, уж пусть будет по-вашему: от чего же это, по-вашему, отвисит?

– От свой карахтер.

– Гм!.. Нет-с, этак рассуждать нельзя.

– Это верно так, что от карахтер. Вот будем говорить, чиновник – у него маленькие обстоятельства, а он женится; немецкий всякий женится; полковой офицер женится, а прочий такой и с хороший обстоятельство, а не женится. Наш немецкий художник женится, а русский художник не женится.

– Это камушек в ваш огород, – сказал Шульц, трогая Истомина за руку.

Истомин молча приподнял голову, спросил: «что?» – и хлебнул из непчатого стакана.

– Художник-с, – начал Фридрих Фридрихович, не отвечая Истомину и касаясь теперь руки солидного гостя, – совсем особое дело. Художник, поэт, литератор, музыкант – это совсем не фамилийные люди. Это совсем, совсем не фамилийные люди! Им нужно... это... впечатление, а не то, что нам с вами. У нас с вами, батюшка мой, что жена-то? копилка, копилка. Ну, а их одна вдохновляет так, другая – иначе, их дело такое, а не то что по-нашему: сидеть да женины ноги греть. Это совсем не то, что мы с вами: им жен не нужно.

– То есть нам жен нет, может быть вы хотите сказать, – вмешался тихо Истомин. – Нам нет жен; еще не выросли они на нашу долю, любезный Фридрих Фридрихович.

– Чужие на вашу долю выросли, ха-ха-ха! – Шульц так и раскатился.

– Чужие! то-то вот вы заливаетесь, а вместо того лучше путем-то скажите-ка, где эти женщины для нас, пролетариев? Не вы ли вашу Кларочку так воспитываете?

– И очень, батюшка, Роман Прокофьич, и очень, государь мой, и очень.

– Ну, как же!

– Да-с, да; а вы вот скажите, бывали ли... есть ли, наконец, у художников идеалы-то простые? Можете ли вы себе представить, какую бы вы себе хотели жену?

– Могу-с и представляю.

– Кто это, например?

– Анна Денман.

– Что сие такое за Денман?

– Денман?.. Денман... это *сие*, которое ни за какие коврижки не покупается, Фридрих Фридрихович. Денман – это англичанка, жена скульптора, Джона Флаксмана. А хотите знать, что она сделала? И это расскажу вам. Когда Флаксман женился на ней, ему сказал приятель: «Вы, Флаксман, теперь погибли для искусства». – «Анна, я теперь погиб для искусства?» – говорил, придя домой Флаксман. «Что случилось с тобою? Кто это сделал?» – встревожилась Денман. «Это слу-

чилось в церкви, – отвечал Флакسمан, – и сделала это Анна Денман», и все ей рассказал. «Анна Денман не погубит таланта», – отвечала жена и повезла Флаксмана в Рим, во Флоренцию; она одушевляла его; терпела с ним всякую нужду; она сама сделалась художником и вдохновила мужа создать великую статую великого Данте – Данте, которого тоже вела женщина, его бессмертная Беатриче. Понимаете, благодетель мой Фридрих Фридрихович! что для художника возможна подруга, очень возможна; да понимаете ли, какая подруга для него возможна?.. Пусть ваша Клара будет Анною Денман.

– О! очень пусть; очень.

– Ну, вот тогда и еще кто-нибудь, кроме Флаксмана, скажет во всеуслышание, что «жена не помеха искусству». Только ведь, батюшка Фридрих Фридрихович, кто хочет взростить такое чистое дитя, тот не спрашивает дочку: «Кларенька, какой тебе, душечка, дом купить?», а учит ее щенка слепого жалеть, мышку, цыпленка; любить не палаты каменные, а лужицу, что после дождя становится.

– А что ж, я был бы очень рад.

– Э, полноте-ка, пожалуйста! Ну на что вам все это в вашей дочери? Что мы в самом деле такое, все-то какие есть искусники? Ведь уж как вы там хотите, а ваша лисья шуба вам милей Шекспира?.. что? Ей-бо-

гу, правда! Не думаете ли вы взаправду, что мы какая-то соль земли? напротив, вы и сами того убеждения, что мы так, что-то этакое, назначенное для вашего развлечения, какие-то этакие брелоки, что ли, к вашей цепочке. Ведь так? Вот этакой меховщик Кун, что ли, который вам шубы шьет, какой-нибудь Никита Селиванович, который своим братом-скотом торгует; банкиры, спекулянты пенькового буяна, да что-нибудь еще в этом роде – вот это люди! Они действительно дела делают, которые все сейчас можно привести в копейки – они, значит, и нужны, а мы... да в самом деле, пусть черт сам разберет, на что мы? – Ни богу свечка, ни черту ужег.

– Черта не поминай! черта, братец, не поминай! от этого, мужик говорил, худо бывает. Лучше богу помолись, так он тебе и жену даст, – умилительно фамильярничал Фридрих Фридрихович.

– Да; вы небось молитесь!

– А то как бы вы думали?

– Ну, вам и книги в руки. – За это же бог и дал вам Берту Ивановну...

– Копилку свою.

– Да, копилку, и очень красивая копилка; и у вас всегда все пуговицы к рубашкам пришиты, и вы можете спать всегда у белого плечика. – Чудесно!! И всему этому так и быть следует, голубчик. У Берты Иванов-

ны Шульц есть дом – полная чаша; у Берты Ивановны Шульц – сундуки и комоды ломаются от уборов и нарядов; у Берты Ивановны Шульц – муж, нежнейший Фридрих, который много что скажет: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, как бы мы с вами не поссорились!» Берта Ивановна вся куплена.

Шульц самодовольно улыбнулся.

– Что, угадал ведь я? – продолжал Истомин. – А в будущем у нее и состояние, и почет, и детская любовь, и общее уважение, – так чего же ей бояться или печалиться, и как ей не целовать вас сладко! Не так ли-с?

Шульц с улыбкой качнул головой и проговорил:

– Ну, рассуждайте, рассуждайте!

– Да-с, так-с это, именно так-с, – продолжал Истомин. – И все это так именно потому, что сынове мира сего мудрейши сынов света суть, *всвоем роде*. Праздник на вашей улице. Женщины, не наши одни русские женщины, а все почти женщины, в целом мире, везде они одной с вами религии – одному с вами золотому богу кланяются. Всегда они нас продадут за вас, будьте в этом благонадежны.

– Ас вами нас обманут?

– Ну, ведь сердце, батюшка Фридрих Фридрихович, не щепка, а праздность, как вам должно быть из прописи известно, есть мать всех заблуждений и пороков. Да и то ведь, что ж *обманет* ... какой там обман?.. по-

шалит, то есть, безделицу – только и всего. Не убудет же ее оттого, что кто-нибудь ее отметит своим минутным вниманием.

– Ха-ха-ха – отметит! это пустяки называется!

– Да, пожалуй что и в самом деле пустяки.

– Ну, покорно вас благодарю.

– Не да что еще пока, – отвечал небрежно Истомин и непосредственно начал: – Знаете, Фридрих Фридрихович, в человеческой породе бабы-то, воля ваша, должно быть смысленнее самцов.

– Право!

– Право-с. – Вы вон-с изволите говорить, «что нам все нужно *разнообразие*». Правда? Ведь вы именно это думали: *разнообразие*, и даже разнообразие именно, в самом узком значении?

– Н-ну... – начал было Шульц.

– Нет, позвольте! – перебил его Истомин. – Я очень устал, и мне говорить не хочется; но уж не знаю, за-чем-то, однако, я нахожу нужным заплатить вам за откровенность откровенностью. Вы и вот все такие хорошие люди, как вы (само собою, в искренность этих слов вы верите), – так все такие-то вот люди наши злейшие враги и предатели. Да-с, предатели. Приве-чая и лаская нас, первые вы стараетесь гадить нам всеми возможными средствами и преимущественно гадить у женщин. Вы им представляете нас чудаками,

химеристами, потому только, что мы на вас не похожи, и потому, что вам выгодно делать нас шутами. «Точно, мол, душечка, он интересен – приятно быть с ним вместе; но а представь-ка ты, что бы с тобой было, если бы ты была его, а не моя?» Это все очень умно с вашей стороны, только очень толсто, нехитро. Женщины вообще ведь по натуре и не очень доверчивы, и не очень робки, и совсем не так целомудренны, как практичны. Запугать вы их нами не запугаете, а любопытство их раздражить – раздражьте, – вот вам и рога за ваши старания.

– Чужеядны вы, господа.

– Да, птицы небесные! не жнем, не сеем, а живы; но дело-то все не в том! А зачем вы, под видом дружбы и доброжелательства, мараете нашу репутацию? зачем вы нас унижаете, возвышая как будто нас над целою толпою? Почем вы знаете, что мы не любим, да и любить не можем? А может быть, нам *некого* скорей любить? Натурщиц полногрудых, что ли? или купчих шестипудовых? или кисейных барышень? чиновниц, и день и ночь мечтающих о шляпках? иль этих Мессалин сластолюбивых? Кого ж? кого, по-вашему, я должен полюбить? Молчите? Слава богу! А вы теперь скажите, или намекните, или так хоть в ту сторону кивните пальцем, где, по вашим соображениям, находится *женщина*, не ваша женщина, а *наша*, кото-

рой мила жизнь наша, а не ваша: женщина, которая мне обещала бы поддержку на борьбу со всякою бедою, которая бы принесла хоть каплю масла для той искры, которая меня одушевляет! Ваши женщины! Бог с ними совсем! Прийти тайком, соорудить рога оленьи мужу – они готовы; но чтоб с нами наше горе черпать, нужде в глаза смеяться, любить мой труд, мою работу... Нет! Она скорее убьет все искорки таланта, а не раздует, не освежит его и не согреет. «Вот, скажет, Фридрих Фридрихович – вот муж примерный! Жена его спит на лебяжьем пуху; купается в розовом масле, а ты...», да и пойдет меня... мою свободу, мою свободу; будет мне в моих глазах же гадить! Станет упрекать меня за то, что я пренебрегаю так какой-то вовсе мне не нужной чепухою; станет равнять меня с купцом или с казнокрадом!.. Да нет, оставьте, господа, вы говорить о нас, попорченных и сумасбродных людях! Кого вы называете любовницами нашими?.. Да разве в самом деле есть, что ли, женщины, способные любить? Не верьте, не верьте, батюшка Фридрих Фридрихович! Никто нас не любит. Просто соскучатся с благоразумными мужьями, да пошалят; а где там им, грешным, любить!

Истомин нетерпеливо качнул головою и произнес:
– Баловницы они, а не любовницы, – и опять раскрыл том Пушкина.

– Ну да, – заговорил Фридрих Фридрихович, – женщины... того... Они, конечно... мало еще всему этому сочувствуют; но ведь если все станут сочувствовать, то...

– Что такое *все*? что *все*? – нервно перебил его Истомин.

Шульц снова просыпал кое-как свою фразу.

– Все! все! – тихо и снисходительно повторил художник. – Да вы хоть вот это б прочитали, – продолжал он, глядя в раскрытую страницу на «Моцарте и Сальери», – что если б все так чувствовали, тогда б не мог

И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни,
Все б предались свободному искусству!
Нас мало, избранных счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров:
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощайте.

– И *прощайте*, и это тут написано? – спросил Шульц.

– Вот, представьте себе, и это здесь написано, – отвечал Истомин, пожимая всем руки и торопливо вы-

ходя из зала.

Только что мы с ним переступили в темный магазин, как Истомин нервно вздрогнул, схватил меня за плечо и, тихо вскрикнув: «Кто это?» – вдруг остановился. От серого пятна, которым обозначалось окно, медленно отделилась и, сделав несколько шагов, стала миниатюрная фигура.

– Марья Ивановна! это вы? – спросил Истомин.

Фигура ничего не ответила, но тронулась тихо вдоль стены к двери, как китайская тень. Это была Маша. Истомин взял ее за руку и крепко поцеловал в ладонь.

Когда я пожал руку Мани, рука эта была холодна как лед, и в тихом «прощайте», которое выронила мне Маня, было что-то болезненное, как далекий крик подстреленной птицы.

Долго я проворочался, придя домой, на моей постели и не мог уснуть до света. Все смущал меня этот холод и трепет, этот слабый звук этого слабого *прощайте* и тысячу раз хотелось мне встать и спросить Истомина, зачем он, прощаясь, поцеловал Манину руку, и поцеловал ее как-то странно – в ладонь. Утром я опять думал об этом, и все мне было что-то такое очень невесело.

Часу в двенадцатом на другой день зашел ко мне Фридрих Фридрихович.

– Долго, – спрашиваю, – вы еще посидели после нас?

– А нет, – говорит. – Вдруг, как этот наш раздраженный маэстро ушел, мы все раззевались и пошли.

Опять мне это не понравилось. Значит, с выходом Истомина, на его словах оборвалась и речь человеческая. Хорошо, говорят, тому, за кем остается последнее слово в беседе!

А Фридрих Фридрихович, черт его знает, со вчерашнего похмелья что ли, вдруг начинает мне шутя сообщать, что Берта Ивановна дома его порядочно выпудрила за то, что он заставлял ее целоваться с Истоминным. «Говорит, просто, говорит, как удав, так и впивается. Если б, говорит, ты не стоял возле меня, так я бы, кажется, не знала, что с собой делать?»

– А вечером же, смотрите, не забудьте, приходите на полоскание зуб.

Что-то ужасно мне не хотелось, но, однако, обещал, что приду.

– И удава тащите.

Я обещал и это; но удав не пошел.

– Черт с ним совсем, – сказал он, когда я передал ему Шульцево приглашение и рассказывал, как тот усердно его просит.

Истомин наотрез отказался и, усевшись за пианино, начал что-то без толку напевать и наигрывать.

Я ушел *один*.

Полоскание зуб совсем не задалось: сам Шульц встал после сна невеселый, мне тоже не хотелось ни пить, ни говорить; Берте Ивановне, очевидно, хотелось спать, а Ида с Маней пришли на минутку и скоро стали снова прощаться. Я встал и пошел вслед за ними. Шульц и не удерживал; он сам светил нам, пока мы надевали свои шубы, зевал и, закрывая рукою рот, говорил:

– А тому удаву скажите, что это не по-приятельски. Я ему за это, как придет, стакан рейнвейну за шиворот вылью.

– Кто это «удав»? – спросила, идучи дорогою, тихо Ида.

Я говорю:

– Истомин.

– Уж и правда.

– Что это?

– Удав.

– Он вам не нравится?

– Не нравится.

Ида сделала гримасу.

– А за что, смею спросить?

– Он духов вызывает.

– Как это, – говорю, – духов?

– А так... привидений. Те лучше, которые вокруг се-

бя живых людей терпят.

Ну, думаю себе, удав, удав! И сел этот удав в моем воображении около Мани, и пошел он обвиваться около нее крепкими кольцами, пошел смотреть ей в очи и сосать ее беленькую ладонь.

Глава девятая

Пробежал еще месяц. Живем мы опять спокойно, зима идет своим порядком, по серому небу летают белые, снеговые мухи; по вонючей и холодной петербургской грязи ползают извозчичьи клячи, одним словом все течет, как ему господь повелел. В Романе Прокофьиче я не замечаю никакой перемены; а между тем в нем была некоторая перемена, только не очень явно давала она себя почувствовать. Художественно ленивый и нервный Истомин стал еще нервнее, беспечней и ленивей. Месяца три спустя после Маниного праздника я как-то вдруг заметил, что Истомин уже совсем ничего не работает и за кисть даже не берется. Картина стояла обороченная к стене, и на подрамке ее лежал густой слой серой пыли. Увеличилась несколько обычная лень и ничего более, думал я и опять совсем забывал даже, что Истомин ничего не работает и валяется. Но мало-помалу, наконец, внимание мое стало останавливаться на других, более странных явлениях в характере и привычках Истомина. Роман Прокофьич прежде всего стал иначе относиться к неоставлявшим его дамам сильных страстей и густых вуалей. Перешвыривая ими с необыкновенною легкостью и равнодушием, он прежде всегда де-

лал это очень спокойно, без всяких тревог и раздражений, а с некоторого времени стал вдруг жаловаться, что они ему надоедают, что ему нет покоя, и даже несколько раз выражал намерение просто-запросто повышвыривать их всех на улицу. Наконец в одно серое утро, валяясь в своем черном бархатном пиджаке по богатому персидскому ковру, которым у него была покрыта низенькая турецкая оттоманка, он позвал при мне своего человека и сказал ему:

– Янко! Сделай ты милость, вступишь в мое спасенье.

Янко остановился и глядел на него в недоумении.

– Будь благодетель, освободи ты меня от всяких барынь.

– Слушаю-с, Роман Прокофьич, – отвечал Янко.

– Какие ж ты для этого полагаешь предпринять меры?

– А пущать их к вам, Роман Прокофьич, не буду.

– Это – довольно тонко и находчиво; я это одобряю, Янко, – отвечал спокойно Истомин и заговорил со мною о скуке, о тоске, о том, что ему главным образом Петербург опостылел и что с весною непременно надо уехать куда-нибудь подальше.

В это время Истомин очень много читал и даже собирался что-то писать против гоголевских мнений об искусстве; но писания этого, впрочем, никогда не про-

исходило. Он очень много читал этой порою, но и читал необыкновенно странно. Иногда он в эту полосу своего упорного домоседства молча входил ко мне в своем бархатном пиджаке и ярких канаусовых шароварах, молча брал с полки какую-нибудь книгу и молча же уходил с нею к себе.

Я заставлял его часто, что он крепко спал на своей оттоманке, а книга валялась около него на полу, и потом он вскоре приносил ее и ставил на место. В другой раз он нападал на какую-нибудь небольшую книжонку и читал ее удивительно долго и внимательно, точно как будто или не понимал ее, или старался выучить наизусть. Долее всего он возился над Гейне, часто по целым часам останавливаясь над какую-нибудь одной песенкой этого поэта.

– «Трубят голубые гусары», – сказал я однажды, заходя к нему и заставляя его лежащим с маленьким томиком Гейне.

– Что? – спросил он, наморща брови.

Я опять повторил строфу легкого стихотворения, которое некогда очень любил и очень хвалил Истомин.

– Кой черт *гусары!* – отвечал Роман Прокофьич. – Я все читаю об этой «невыплаканной слезинке». Эх, господи, как люди писать-то умеют! что это за прелесть, эта крошка Вероника! ее и нет, а между тем ее

чувствуешь, – проговорил он лениво, приподнимаясь с оттоманки и закуривая сигару.

– «Она была достойна любви, и он любил ее; но он не был достоин любви, и она его не любила» – это старая история, которая будет всегда нова, – произнес он серьезно и с закуренной сигарой снова повалился на ковер, закрыл ноги клетчатым пушистым пледом и стал читать далее.

Через заклеенную дверь я слышал раз, как он громко декламировал вслух:

С толпой безумною не стану
Я пляску дикую плясать
И золоченому болвану,
Поддавшись гнусному обману,
Не стану ладан воскурять.
Я не поверю рукожатьям
Мне яму роющих друзей;
Я не отдам себя объятьям
Надменных наглостью своей
Прелестниц...
Нет, лучше пасть, как дуб в ненастье,
Чтоб камышом остаться жить,
Чтобы потом считать за счастье —
Для франта тросточкой служить.

Я слышал также, как после этой последней строфы книга ударилась об стену и полетела на пол.

Через минуту Истомин вошел ко мне.

– А что вы думаете, – спросил он меня снова, – что вы думаете об этой «невыплаканной слезинке»?

– А ведь вы больны, Роман Прокофьевич, – сказал я ему вместо ответа.

– Должно быть, в самом деле болен, – произнес Истомин.

Он приподнялся, посмотрел на себя в зеркало и, не говоря ни слова, вышел.

Ладить с Романом Прокофьевичем не было никакого средства. Его избалованная натура кипела и волновалась беспрестанно. Он решительно не принимал никого и высказывался только самыми странными выходками.

– Знаете, – говорил он мне однажды, – как бы это было хорошо пристрелить какую-нибудь каналью?

– Чем же это, – спрашиваю, – так очень хорошо бы было?

– Воздух бы немножко расчистился, а то сперлось уж очень.

Роман Прокофьевич поставил на край этажерки карту, выстрелил в нее из револьвера и попал.

– Хорошо? – спросил он, показывая мне туза, пробитого в самое очко, и вслед за этим кликнул Янка.

– Милый Яни! Подержи-ка, – сказал он, подавая слуге карту.

Янко спокойно поставил на своей стриженной голове карту и деликатно придерживал ее за нижние углышки обеими руками.

Истомин отошел, приподнял пистолет и выстрелил: новая карта опять была пробита в самой середине.

Я знал, что такие забавы у них были делом весьма обыкновенным, но все-таки эта сцена встревожила меня, и притом в комнате становилось тяжело дышать от порохового дыма.

– Пойдемте лучше ко мне! – позвал я Истомина.

– А здесь разве не все равно?

– Теперь здесь действительно воздух очень сперт.

– Да, здесь воздух спирается, спирается, – заговорил Истомин, двигая своими черными бровями. – Здесь воздух ужасно спирается, – закончил он, желая придать своему лицу как можно более страдания и вообще скорчив грустную рожу.

Это было невыносимо противно. Перед кем это, для кого и для чего он ломался?

И несколько дней все он ходил смирнехонек и все напевал:

Любить мечты не преступленье,
И я люблю мою мечту.

Надоела уж даже мне эта песня.

Шульц, встречаясь со мною у Норков, очень часто осведомлялся у меня об Истомине.

– Что наш жук-отшельник делает? – спрашивал он.

Я отвечал, что хандрит.

– Заряжается, верно, чем-нибудь! – восклицал Шульц. – Я знаю эти капризные натуры: вдохновения нет, сейчас и беситься, – самодовольно разъяснил он, обращаясь к Иде Ивановне и Мане.

Ни та, ни другая не отвечали ему ни слова.

У этих обеих девушек Фридрих Шульц большим расположением похвалиться не мог.

Глава десятая

Чудачества Истомина продолжались. Он, как говорил о нем Шульц, все не переставал *капризничать* и не возвращался к порядку. Видно было, что ему действительно приходилось тяжело; становилось, что называется, невмочь; он искал исхода и не находил его; он нуждался в каком-нибудь толчке, который бы встряхнул его и повернул лицом к жизни. Но этого толчка не случилось, и придумать его было невозможно, а, наконец, Истомин сочинил его себе сам.

В один из тех коротких промежутков этой беспокойной полосы, когда Истомин переставал читать запоем, страстно увлекаясь и беснуясь, и, наоборот, становился неестественно смирен и грустный бродил тише воды, ниже травы, я зашел к нему прямо с улицы и сказал, что на днях дают обед для одного почтеннейшего человека, которого очень уважал и почитал Истомин.

– Я, – говорю, – записал на обед и себя и вас, Роман Прокофьич!

– Очень, – отвечает, – мило сделали. А сколько денег?

Я сказал.

Истомин взял свое портмоне и, подавая мне ассиг-

нацию, тепло пожал мою руку.

– Пойдете? – спросил я.

– Как же, непременно пойду.

В день этого обеда Истомин с самого утра не надевал своего пиджака и был очень спокоен, но молчалив. За юбилейным обедом он равнодушно слушал разные пышные и сухие речи; ел мало и выпил только два бокала шампанского.

Все время обеда мы сидели с ним рядом и после стола вместе вышли в небольшую комнату, где собралась целая толпа курящего народа. Истомин сел у окна, вынул дорогую баядеру, закурил ее и равнодушно стал смотреть на плетущихся по взмешанному, грязному снегу ванек я на перебежавших в суете пешеходов. Против Истомина, в амбразуре того же окна, сидела не молодая и не старая дама, которая еще не прочь была нравиться и очень могла еще нравиться, а между ними, на лабрадоровом подоконнике этого же самого окна, помещался небольшой белокуренький господинчик с жиденькими войлоковатыми волосами и с физиономией кладбищенского, тенористого дьякона. Дама не без эффекта курила очень крепкую сигару, а белокурый господин тянул тоненькую мари-ландскую папироску. Обе эти особы вели оживленный разговор об искусстве вообще и в различных его применениях в жизни. Дама была из тех новых, даже са-

моновейших женщин, которые мудренее нигилистов и всего доселе появлявшегося в женском роде: это демократки с желанием барствовать; реалистки с стремлением опереться на всякий предрассудок, если он представляет им хотя самую фиктивную опору; проповедницы, что «не о хлебе едином человек жив будет», а сами за хлеб продающие и тело и честную кровь свою. Бестолковее и гаже этого ассортимента фраз ходячих в юбках, кажется, еще ничего никогда не было. Перед мало-мальски умным и логическим человеком они бывают жалки до самой последней степени: масса противоречий сбивает их. Дама, о которой идет речь, беспрестанно путалась во всех своих положениях и кидалась из одной стороны в другую, как нарочно открывая кладбищенскому дьякону полнейшую возможность побивать ее на всех пунктах. Около этой пары, к которой случайно помещался ближе всех Истомин, сгруппировалась очень густая толпа, внимательно следившая за их речами. Дама при всей своей внешней храбрости очевидно мешалась и, как я сказал, беспрестанно впадала в противоречия. Все свои усилия она устремляла только на то, чтобы не соглашаться, частила, перебивала и городила вздор. Тенористый вахлячок, напротив, говорил с невозмутимым спокойствием и таким тоном, каким, вероятно, Пилат произнес свое *еже писах – писах*.

Он решительно утверждал, что художество отжило свой век и что искусство только до тех пор и терпимо, пока человечество еще глупо; да и то терпимо в тех случаях, когда будет помогать разуму проводить нужные гражданские идеи, а не рисовать нимф да яблочки.

– Но вы забываете, что у всякого свой талант... – перебивала дама.

– А что такое талант? – спокойно вопрошал тенористый дьякон и опять ядовито захихикал.

– Да вы знаете ли искусство-то? понимаете вы что-нибудь в искусстве? – частила дама, бог знает как передававшаяся вдруг совсем на сторону чистого искусства для искусства.

– Знаю-с; знаю, – отвечал, звонко прихихикивая, тенористый дьякон. – Если толстая голая женщина нарисована, так это, значит, Рубенс упражнялся. Большой бесстыдник!

Тенорист опять захихикал, кашлянул и отмахнулся рукою от налегшей на него струи сигарного дыма. Из толпы высунулись вперед две шершавенькие мордочки, оскалили зеленые зубы и также захохотали.

Я случайно взглянул на Истомина: он сидел вытянув ноги и сложив их одну на другую; сигару свою он держал между двумя пальцами правой руки и медленно пускал тоненькую струйку синего табачного дыма

прямо в нос тенористому дьякону.

– Так, по-вашему, что ж, художников надо выгнать, что ли? – приставала дама.

– Выгнать-с? – Нет, это Платон предлагал увенчать всех этих бесстыдников лаврами и потом выгнать, а по-моему, на что на них лавры истреблять.

– Платон это говорил о поэтах.

– Это все равно-с; жрецы свободного искусства!

Тенорист снова захихикал и снова закашлялся еще сильнее. В нос ему так и била тоненькая дымовая струйка, вылетающая крутым шнурочком из-под усов Истомина и бывшая оратора прямо в нос.

– Их к делу надо обратить, – продолжал он, отмахнувшись от дыма.

– Да-с, землю пахать, что ли? – допрашивала с азартом дама.

– Кто к чему годен окажется: кто камни тесать, кто мосты красить.

– Прекрасно-с, прекрасно! только как вы этого достигнете?

– Чего-с это?

– Того, чтоб художники обратились в ремесленников.

– Исправительными мерами-с.

– Га! то есть сечь их будете?

– Это по усмотрению-с, по усмотрению, – отвечал

беленький тенор, глядя в толпу и по-прежнему стуча по стене задниками своих сапожек.

– Это прелесть! это чудо что такое!.. Это совершенство! – восхищалась дама, покрывая все довольно громким смехом. – Представьте себе, господа, бедного Рафаэля, который мазилкой мост красит на большой дороге! или Канову, который тумбы обтесывает!.. Это чудо! Это совершенство! прелесть! Ну, а певцов, скульпторов, музыкантов, актеров: их всех куда девать?

– Зачем же их девать куда-нибудь? Перестанут им деньги давать, так они сами и петь и плясать перестанут.

– То-то! а ведь их много; пожалуй, еще отпор дадут, – частила, вовсе уж не вслушиваясь, дама.

– Ну, не дадут-с... – при этом слове тенористый дьякон вздрогнул и быстро отодвинулся от подлезшей к его лицу новой струи дыма.

– Почему? – спросил его резко Истомин.

– Что это? отпор-то? Да какой же отпор? Картинки как-то на дрезденский мост потребовались, так и тех пожалели.

– Это совсем не идет к делу.

– А мы разве с вами о делах говорим?

Тенор захихикал и добавил:

– Смешно!

– А вы не смейтесь, – остановил его, бледнея, Истомин.

– Отчего ж-с? Это правительством не запрещено.

– Оттого, что мне это не нравится.

– Напрасно-с.

– Напрасно! Вы говорите – *напрасно!* А что, ежели я, *бесстыдник*, художник Истомин, сейчас после этого «напрасно» объявлю, что всякому, кто посмеет при мне сказать еще хотя одно такое гнусное слово об искусстве, которого он не понимает, то я ему сейчас вот этими самыми руками до ушей рот разорву?

Истомин встал, прижал ногою колена тенора к подоконнику и, взяв сигару в зубы, показал ему два большие пальца своих рук.

– Я тогда ничего-с более не скажу, – отвечал, нимало не теряясь и по-прежнему хихикая, тенористый дьякон.

– То-то, надеюсь, что не скажете! – отвечал, доканчивая свою нелепую выходку, Истомин и смешался с толпою.

– Доказал, однако! – иронически проговорила, высовываясь из толпы, прежняя шершавая мордочка.

– Да-с; я полагаю, что у этого человека очень развито правое плечевое сочленение, а это очень важно при спорах в России, – отвечал мордочке тенор и легко снялся с подоконника.

Через полчаса я видел, как Истомин, будто ни в чем не бывало, живо и весело ходил по зале. С обеих сторон у его локтей бегали за ним две дамы: одна была та самая, что курила крепкую сигару и спорила, другая – мне вовсе незнакомая. Обе они залезали Истомину в глаза и просили у него позволения посетить его мастерскую, от чего он упорно отказывался и, надо полагать, очень смешил их, потому что обе они беспрестанно хохотали.

Беловойлочный противник Истомина тоже сидел здесь, на одном из диванов этой же залы, и около него помещались два молодые господина, смотревшие не то обиженными ставленниками, не то недовольными регистраторами духовной консистории.

Ставленники бросали на художника самые суровые взгляды, но, однако, никакого нового столкновения здесь не произошло. Но угодно же было судьбе, чтобы Истомин, совершив одно безобразие, докончил свой день другим, заключил его еще более странной и неоправдываемой выходкой. Совсем в шубах и шапках мы натолкнулись на эту тройку между двойными дверями подъезда.

– Не могу-с, не могу, – говорил, пробираясь впереди нас и хихикая, тенор. – Ничего-с здесь не могу говорить, рот разорвут.

– Полно острить-то! – произнес сзади его Истомин

и, взявшись за края его меховой шапки, натянул ему ее по самую бороду. Тенор издал из-под шапки какой-то глухой звук и, как страус, замотал головою во все стороны. Оба ставленника разом принялись сдерживать с учительской головы ни за что не хотевшую слезать шапку.

Истомин был очень весел, смеялся и, придя домой, начал переставлять и перетирать в своей мастерской давно забытые подмалевки и этюды.

На другой день, часу в девятом утра, только что я отворил дверь в залу Истомина, меня обдал его громкий, веселый хохот, так и разносившийся по всей квартире. Истомин уже был одет в канаусовых шароварах и бархатном пиджаке и катался со смеху по ковру своей оттоманки.

– Здравствуйте! – весело произнес он, протягивая мне руку и обтирая платком выступившие от хохота слезы. – Садитесь скорей или лучше прямо ложитесь загодя, а то Меркул Иванов вас сейчас уложит.

Меркул Иванов был огромный, трехэтажный натурщик, прозывавшийся в академии Голиафом. Он был необыкновенно хорошо сложен; слыл за добродушнейшего человека и пьянствовал как настоящий академический натурщик. Теперь он был, очевидно, после каторжного похмелья и, стоя у притолоки Истомина, жался, вздрагивал и водил по комнате помутивши-

мися глазами.

– Вот послушайте, – начал Истомин. – Я говорю Меркулу Иванову, чтоб он более не пил; что иначе он до чертиков допьется, а он, вот послушайте, что отвечает.

– Это помилуй бог, Роман Прокофьич, – зацедил сквозь зубы, вздрагивая, натурщик.

– Да... а он говорит... да ну, рассказывай, Меркул Иваныч, что ты говорил?

– Я-то, Роман Прокофьич... что это... помилуй бог совсем; я крещеный человек... как он может ко мне подходить, дьявол?

– А что ты выдаешь-то?

– Ххххаррри этикие... маски... Роман Прокофьич... это золото... уголь сыпется... – рассказывал, отпихиваясь от чего-то ладонью, натурщик. – Ну, что только чччеерта, Роман Прокофьич... Этого никак он, Роман Прокофьич, не может. Он теперь если когда и стоит... то он издалли стоит... он золлото это, уголь, все это собирает... а ко мне, Роман Прокофьич, не может.

Смешно это, точно, рассказывал несчастный Голиаф, но уж Истомин смеялся над этим рассказом совсем паче естества, точно вознаграждал себя за долговременную тоску и скуку. Он катался по ковру, щипал меня, тряс за руку и визжал, как ребенок, которому брюшко щекочит.

– Ну, а клодтовский форматор же что? – заводил опять натурщика Истомин.

– Т-тот... тот, Роман Прокофьич, действительно что допился, – отвечал, вздыхая, Меркул Иванов.

– То-то, расскажи им, расскажи, как он допился?

Меркул Иванов повернул голову исключительно ко мне и заговорил:

– Уговорились мы, Роман Прокофьич, идти...

– Ты им рассказывай, – перебил его Истомин, показывая на меня.

– Я и то, Роман Прокофьич, им это, – отвечал натурщик. – Уговорились мы, Роман Прокофьич, – продолжал он, глядя на меня, – идти с ним, с этим Арешкой, в трактир... Чай, Роман Прокофьич, пить хотели. В третьей линии тут, изволите знать?

– Ну, знаю! – крикнул Истомин.

– Я и говорю ему: «Не пей, говорю, ты, Арешка, водки, потому видишь, говорю, как от нее после того тягостно. Приходи, зову его, лучше в шестом часу ко мне и пойдем в третьей линии чай пить». Только он что же, Роман Прокофьич? Я его жду теперь до седьмого часу, а е-его ппподлеца – вот нету. Я теперь, разумеется, пошел ззза ним. Пррихххажжу, а он, мерзавец, лежит в мастерской теперь под самыми под этими под канатами, что, изволите знать, во второй этаж формы поднимают. Голова его теперь пьяная под самыми

под этими канатами, и то-то-исть по этим, Роман Прокофьич, по канатам... чертей! То есть сколько, Роман Прокофьич, чертей везде! И вот этакие, и вот этакие, и вот этакие... как блохи, так и сидят.

Меркул Иванов плюнул и перекрестился.

– Гибель! – продолжал он. – Я тут же, Роман Прокофьич, и сказал: пропади ты, говорю, совсем и с чаем; плюнул на него, а с этих пор, Роман Прокофьич, я его, этого подлого Арешку, и видеть не хочу. А на натуре мне эту неделю, Роман Прокофьич, стоять не позволяйте, потому, ей-богу, весь я, Роман Прокофьич, исслабел.

Тешил этот наивный рассказ Истомина без меры и развеселил его до того, что он вскочил и сказал мне:

– Не пройдемся ли проветриться? погода уж очень, кажется, хороша.

Я был согласен идти; погода действительно стояла веселая и ясная. Мы оделись и вышли.

Не успели мы сделать несколько шагов к мосту, как нагнали Иду Ивановну и Маню: они шли за какими-то покупками на Невский.

– Мы пойдем провожать вас, – напрашивался я к Иде Ивановне.

– Если вам нечего больше делать, так провожайте, – отвечала она с своим всегдашним спокойно-насмешливым выражением в глазах.

Я пошел около Иды Ивановны, а Истомин как-то случайно выдвинулся вперед с Манею, и так шли мы до Невского; заходили там в два или три магазина и опять шли назад тем же порядком: я с Идой Ивановной, а Маня с Истоминым. На одном каком-то повороте мне послышалось, будто Истомин говорил Мане, что он никак не может забыть ее лица; потом еще раз послышалось мне, что он нервным и настойчивым тоном добивался у нее «да или нет?», и потом я ясно слышал, как, прощаясь с ним у дверей своего дома, Маня робко уронила ему тихое «да».

Вечером в этот день мне случилось проходить мимо домика Норков. Пробираясь через проспект, я вдруг заметил, что в их темном палисаднике как будто мигнул огонек от сигары.

«Кто бы это тут прогуливался зимою?» – подумал я и решил, что это верно, Верман затворяет ставни.

– Herr Wermann,²⁶ – позвал я сквозь решетку палисадника.

Сигара спряталась, и что-то тихо зашумело мерзлым кустом акации.

– Неужто вор! но где же воры ходят с сигарой? Однако кто же это?

Я перешел на другую сторону и тихо завернул за угол.

²⁶ Господин Верман (нем.).

Не успел я взяться за звонок своей двери, как на лестнице послышались шаги и в темноте опять замигала знакомая сигара: это был Истомин.

«Итак, это он был там, – сказала мне какая-то твердая догадка. – И что ему нужно? что он там делал? чего задумал добиваться?»

Это обозлило меня на Истомина, и я не старался скрывать от него, что мне стало тяжело и неприятно в его присутствии. Он на это не обращал, кажется, никакого внимания, но стал заходить ко мне реже, а я не стал ходить вовсе, и так мы ни с того ни с сего раздвинулись.

Я имел полное основание бояться за Маню: я знал Истомина и видел, что он приударил за нею не шутя, а из этого для Мани не могло выйти ровно ничего хорошего.

Глава одиннадцатая

Опасения мои начали возрастать очень быстро. Зайдя как-то к Норкам, я узнал, что Истомин предложил Мане уроки живописи. Это «да», которое я слышал при конце нашей прогулки, и было то самое «да», которое упрочивало Истомину спокойное место в течение целого часа в день возле Мани. Но что он делал в садике? Неужто к нему выходила Маня? Не может быть. Это просто он был *влюблен*, то есть сказал себе: «Камилла быть должна моей, не может быть иначе», и безумствовал свирепея, что она не его сейчас, сию минуту. Он даже мог верить, что есть какая-то сила, которая заставит ее выйти к нему сейчас. Наконец, он просто хотел быть ближе к ней – к стенам, в которых она сидела за семейною лампою.

Уроки начались; Шульц был необыкновенно доволен таким вниманием Истомина; мать ухаживала за ним и поила его кофе, и только одна Ида Ивановна молчала. Я ходил редко, и то в те часы, когда не ожидал там встретить Истомина.

Раз один, в самом начале марта, в сумерки, вдруг сделалось мне как-то нестерпимо скучно: просто вот бежал бы куда-нибудь из дому. Я взял шапку и ушел со двора. Думал даже сам зайти к Истомину, но у него

не дозвонился: оно и лучше, потому что в такие минуты не утерпишь и, пожалуй, скажешь *грустно*, а мы с Романом Прокофьевичем в эту пору друг с другом не откровенничали.

Пойду, думаю, к Норкам, и пошел.

Прохожу по проспекту и вижу, что под окном в магазине сидит Ида Ивановна; поклонился ей, она погрозила и сделала гримаску.

– Что это вы, Ида Ивановна, передразнили меня, кажется? – говорю, входя и протягивая через прилавок руку.

– А разве, – спрашивает, – видно?

– Еще бы, – говорю, – не видеть!

– Вот завидные глаза! А я о вас только сейчас думаю: что это в самом деле такая нынче молодежь стала? Помните, как мы с вами хорошо познакомились – так просто, славно, и вот ни с того ни с сего уж и раззнакомливаемся: зачем это?

Я начал оправдываться, что я и не думал раззнакомливаться.

– Эх вы, господа! господа! ветер у вас еще все в голове-то ходит, – проговорила в ответ мне Ида Ивановна. – Нет, в наше время молодые люди совсем не такие были.

– Какие ж, – спрашиваю, – тогда были молодые люди?

– А такие были молодые люди – хорошие, дружные; придут, бывало, вечером к молодой девушке да сядут с ней у окошечка, начнут вот вдвоем попросту орешки грызть да рассказывать, что они днем видели, что слышали, – вот так это молодые люди были; а теперь я уж не знаю, с кого детям и пример брать.

– Это, – говорю, – кажется, ваша правда.

– Да, кажется, что правда; сами в примерах нуждается – садитесь-ка вот, давайте с горя орехи есть.

Ида Ивановна двинула по подоконнику глубокую тарелку каленых орехов и, показав на целую кучу скорлупы, добавила:

– Видите, сколько я одна отстрадала.

– Ну-с, рассказывайте, что вы поделывали? – начала она, когда я поместился на другом стуле и вооружился поданной мне весовой гирькой.

– Скучал, – говорю, – больше всего, Ида Ивановна.

– Это мы и сами умеем.

– А я думал, что вы этого-то и не умеете.

– Нет, умеем; мы только не рассказываем этого всем и каждому.

– А вы разве все равно, что все и каждый?

– Да-с – положим, что и все равно. А вы скажите, нет ли войны хорошей?

– Есть, – говорю, – китайцы дерутся.

– Это все опять в пользу детских приютов? – умные

люди.

– Папа, – говорю, – болен.

– Папа умер.

– Нет, еще не умер.

Ида рассмеялась.

– Вы, должно быть, – говорит, – совсем никаких игр не знаете?

– Нет, – говорю, – знаю.

– Ну, как же вы не знаете, что есть такая игра, что выходят друг к другу два человека с свечами и один говорит: «Папа болен», а другой отвечает: «Папа умер», и оба должны не рассмеяться, а кто рассмеется, тот папа и дает фант. А дальше?

– Дальше? – дальше Андерсена сказки по-русски переводятся.

– Ага! то-то, господа, видно без немцев не обойдетесь.

– Он, спасибо, Ида Ивановна, не немец, а датчанин.

– Это – все равно-с; ну, а еще что?

– Выставка художественная будет скоро.

– Не интересно.

– Неф, говорят, новую девочку нарисует.

– Пора бы на старости лет постыдиться.

– Красота!

– Ужасно как красиво! Разбейте-ка мне вот этот

орех.

– Истомин наш что-то готовит, тоже, кажется, из мира ванн и купален.

Ида улыбнулась, тронула меня за плечо и показала рукою на дверь в залу. Я прислушался, оттуда был слышен тихий говор.

– Он у вас? – спросил я полусшепотом.

Ида молча кивнула головою.

Слышно было, что говорившие в зале, заметя наше молчание, тоже вдруг значительно понижали голос и не знали, на какой им остановиться ноте. Впрочем, я не слыхал никакого другого голоса, кроме голоса Истомина, и потому спросил тихонько:

– С кем *он* там?

– Чего вы шепчете? – проговорила, улыбаясь, Ида.

– Я не шепчу, а так...

– Я так... Что так?.. Как это всегда смешно выходит!

Ида беззвучно рассмеялась.

Это и действительно выходит смешно, но только смешно после, а в те именно минуты, когда никак не заговоришь таким тоном, который бы отвечал обстановке, это бывает не смешно, а предосадно.

Если вам, читатель, случилось разговаривать рядом с комнатой, в которой сидят двое влюбленных, или если вам случилось беседовать с женщиной, с которой говорить хочется и нужно, чтобы другие слыша-

ли, что вы не молчите, а в то же время не слышали, о чем вы говорите с нею, так вам об этом нечего рассказывать. Тут вы боитесь всего: движения вашего стула, шелеста платья вашей собеседницы, собственно-го кашля: все вас, кажется, выдает в чем-то; ото всего вам неловко. Для некоторых людей нет ничего затруднительнее, как выбор камертона для своего голоса в подобном положении.

– Мутерхен²⁷ моей нет дома, – проговорила, тщательно разбивая на окне новый крепкий орех, Ида.

– Где же это она?

– У Шперлингов; там, кажется, Клареньку замуж выдают.

Разговор опять прервался, и опять Ида, слегка покраснев и закусив нижнюю губу, долго стучала по ореху; но, наконец, это кончилось: орех разбился. Стала тишь совершенная.

– Вон Соваж пошел домой, – проронила, глядя в окно, девушка.

Я хотел ответить ей да, но и этого не успел, и не успел по самой пустой причине – не успел потому, что в это мгновение в зале передвинули по полу стул. Он, конечно, передвинулся так себе, самым обыкновенным и естественным образом; как будто кто пересел с места на место, и ничего более; но и мне и

²⁷ Матушка (нем.)

Иде Ивановне вдруг стало удивительно неловко. Сидевшим в зале тоже было не ловче, чем и нам. Ясно, что они чувствовали эту неловкость, ибо Истомин тотчас забубнил что-то самым ненатуральным, сдавленным голосом, и в то же время начало слышаться отчетливое перевертывание больших листов бумаги. Истомин произносил имена Ниобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.

Маня только пискнула один раз, что-то вроде «да» или «дальше» – даже и разобрать было невозможно. – Что это, они гравюры рассматривают?

Ида кивнула утвердительно головою и опять с двойным усилием ударила по ореху.

Мы больше не могли говорить друг с другом.

Истомин повыровнял голос и рассказывал в зале что-то о Киприде. Все слышались мне имена Гнатэны, Праксителя, Фрины Мегарянки.

Дело шло здесь о том, как она, эта Фрина,

...не внимая

Шепоту ближней толпы, развязала ремни у сандалий,

Пышных волос золотое руно до земли распустила;

Перевязь персей и пояс лилейной рукой разрешила;

Сбросила ризы с себя и, лицом повернувшись к народу,

Медленно, словно заря, погрузилась в лазурную воду.

Ахнули тысячи зрителей, смолкли свирель и пектида;

В страхе упав на колени, все жрицы воскликнули громко:

«Чудо свершается, граждане! Вот она, мать Киприда!».

– Ну-с; и с тех пор ею плененный Пракситель навеки оставил Гнатэну, и ушел с Мегарянкою Фрине, и навеки ее сохранил в своих работах. А когда он вдохнул ее в мрамор – то мрамор холодный стал огненной Фриной, – рассказывал Мане Истомин, – вот это и было то чудо.

– А бабушка давно закатилась? – спросил я, наконец, Иду.

Девушка хотела мне кивнуть головою; но на половине слова вздрогнула, быстро вскочила со стула и громко проговорила:

– Вот, слава богу, и мамаша!

С этими словами она собрала горстью набросанную на окне скорлупу, ссыпала ее проворно в тарелку и быстро пошла навстречу матери. Софья Карловна действительно в это время входила в дверь магазина.

В эти же самые минуты, когда Ида Ивановна встречала входящую мать, я ясно и отчетливо услышал в за-

ле два, три, четыре раза повторенный поцелуй – поцелуй, несомненно, насильственный, потому что он прерывался робким отодвиганием стула и слабым, но отчаянным «бога ради, пустите!»

Теперь мне стали понятны и испуг Иды и ее радостный восклик: «Вот и мамаша!»

Это все было совершенно по-истомински и похоже как две капли воды на его всегдашние отношения к женщинам. Его правило – он говорил – всегда такое: без меры смелости, изрядно наглости; поднесите все это женщине на чувствительной подкладке, да не давайте ей опомниться, и я поздравлю вас с всегдашним успехом.

Здесь были и смелость, и наглость, и чувствительная подкладка, и недосуг опомниться; неразрешенным оставалось: быть ли успеху?.. А отчего и нет? Отчего и не быть? Правда, Маня прекрасное, чистое дитя – все это так; но это дитя позволило насильно поцеловать себя и *прошептала*, а не *прокричала* «пустите!» Для опытного человека это обстоятельство очень важно – обстоятельство в девяносто девяти случаях из ста ручающееся нахалу за непременный успех.

Так точно думал и Истомин. Самодовольный, как дьявол, только что заманивший странника с торной дороги в пучину, под мельничные колеса, художник стоял, небрежно опершись руками о притолки в две-

рях, которые вели в магазин из зала, и с фамильярностью самого близкого, семейного человека проговорил вошедшей Софье Карловне:

– Тебя, о мать, сретаем собрашешя вкупе! Приди и открой нам объятя отчи!

– Ах, Роман Прокофьич! – отвечала старуха, снимая с себя и складывая на руки Иды свой шарф, капор и черный суконный бурнус.

– И вы тоже! – обратилась она, протянув другую руку мне. – Вот и прекрасно; у каждой дочери по кавалеру. Ну, будем, что ли, чай пить? Иденька, вели, дружок, Авдотье поскорее нам подать самоварчик. А сами туда, в мой уголок, пойдете, – позвала она нас с собою и пошла в залу.

В зале, у небольшого кругленького столика, между двумя тесно сдвинутыми стульями, стояла Маня. Она была в замешательстве и потерянно перебирала кипу желтоватых гравюр, принесенных ей Истоминым.

– Рыбка моя тихая! что ж это ты здесь одна? – отнеслась к ней Софья Карловна.

Маня посмотрела с удивлением на мать, положила гравюру, отодвинула рукою столик и тихо поправила волосы.

– Тебя, мою немэшу, всегда забывают. Молчальница ты моя милая! все-то она у нас молчит, все молчит. Идка скверная всех к себе позабирает, а она, моя гор-

сточка, и сидит одна в уголочке.

– Нет, мама, со мною здесь Роман Прокофьич сидел, – тихо ответила Маня и нежно поцеловала обе материны руки.

На левой щечке у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здесь к ее лицу прикасались жадные уста удава.

– Роман Прокофьич с тобой сидел, – ну, и спасибо ему за это, что он сидел. Господи боже мой, какие мы, Роман Прокофьич, все счастливые, – начала, усаживаясь в своем уголке за покрытый скатертью стол, Софья Карловна. – Все нас любят; все с нами такие добрые.

– Это вы-то такие добрые.

– Нет, право. Ах, да! что со мной сейчас было...

Софья Карловна весело рассмеялась.

– Здесь возле моих дочерей, возле каждой по кавалеру, а там какой-то господин за мною вздумал ухаживать.

– Как это, мамаша, за вами? – спросил Истомин, держась совсем членом семейства Норков и даже называя madame Норк «мамашей».

– Да так, вот пристал ко мне дорогой в провожатые, да и только.

Мы все рассмеялись.

– Ну, я и говорю, у Бертинькиного подъезда:

«Очень, говорю, батюшка, вам благодарна, только постоите здесь минуточку, я сейчас зайду внучков переkreщу, тогда и проводите, пожалуйста», – он и драла: стыдно стало, что за старухой увязался.

– Молодец моя мама! – похвалила уставлявшая на стол чайный прибор Ида.

– Да, вот подите, право, какие нахалы! Старухам, нам, уж и тем прохода нет, как вечер. Вы знаете ведь, что с Иденькой в прошлом году случилось?

– Нет, мы не знаем.

– Как же! поцеловал ее какой-то негодяй у самого нашего дома.

– Вот как, Ида Ивановна! – отозвался, закручивая ус, Истомин.

– Да-с, это так, – довольно небрежно ответила ему, обваривая чай, Ида.

– Ты расскажи, Идоша, как это было-то.

– Ну что, мама, им-то рассказывать; это еще и их, пожалуй, выучишь этому секрету.

– Ну, полно-ка тебе врать, Ида.

– Мне даже кажется, что Роман Прокофьич в этом чуть ли не участвовал.

– В чем это? Бог с вами, Ида Ивановна, что это вы говорите?

– А что ж, ведь вы тогда не были с нами еще знакомы?

– Ну да, как же! станет Роман Прокофьич... Пере-
стань, пожалуйста.

– Перестану, мама, извольте, – отвечала Ида с
несколько комической покорностью и стала наливать
нам стаканы.

Во все это время она не садилась и стояла перед
самоваром на ногах.

– Видите, – начала Софья Ивановна, – вот так-то
часто говорят *ничего, ничего*; можно, говорят, и одной
женщине идти, если, дескать, сама не подает повода,
так никто ее не тронет; а выходит, что совсем не ниче-
го. Идет, представьте себе, Иденька от сестры, и еще
сумерками только; а за нею два господина; один гово-
рит: «Я ее поцелую», а другой говорит: «Не поцелу-
ешь»; Идочка бежать, а они за нею; догнали у самого
крыльца и поцеловали.

– Так и поцеловали?

– Так и поцеловали.

– Ида Ивановна! да как же вы это оплошали? Как
же вас поцеловали, а? – расспрашивал с удивлением
Истомин.

– Очень просто, – отвечала Ида, – взяли за плечи,
да и поцеловали.

– И вы ему не плюнули в лицо?

– Ну, так! чтоб он еще меня приколотил?

– Эк куда хватили – так уж и приколотит?

– А что ж? от вас всего дожدهшься, – добавила, улыбаясь, Ида.

– Мнения, стало быть, вы о мужчинах невысокого, Ида Ивановна, – пошутил художник.

– Извольте, мама, вам чаю, – проговорила Ида матери, а Истомину не ответила ни слова, будто и не расслышала его вопроса.

– Благодарю, Идочка.

Софья Карловна хлебнула чаю и вдруг затуманилась.

– Ужасно, ей-богу! – начала она, мешая ложкой. – Береги, корми, лелей дитя, ветра к нему не допускай, а первый негодяй хватъ ее и обидит. Шперлинги говорят: устроим уроки, чтоб музыке детей учить. Конечно, оно очень дешево, но ведь вот как подумаешь, что надо вечером с одной девкой посылать, так и бог с ними, кажется, и уроки.

– Ничего, – сказала, подумав, Ида.

– Как, мой дружок, ничего-то? Ты девушка взрослая, а она дитя.

– Это еще ведь не скоро, мама; тогда успеем еще подумать.

– Успеть-то, конечно... А я это... Да ну, видела я, Идочка, жениха. Не нравится он мне, мой дружок: во-первых, стар он для нее, а во-вторых, так что-то... не нравится: а она, говорят, будто его любит, да я это-

му не верю.

– Не знаю, мамочка.

– Говорят, что любит; да только вздор это, я думаю. Уж кто кого любит, так это видно.

Ида промолчала и, взяв в руки одну из принесенных сюда сестрою гравюр, посмотрела ее и тотчас же равнодушно положила снова на место.

– У вас, Ида Ивановна, есть идеал женщины? – спросил Истомин.

– Есть-с, – отвечала, улыбнувшись, Ида.

– Покажите нам ее здесь.

– Здесь нет ее.

– Кто же это такая? Антигона, верно?

– Нет, не Антигона.

– Нет, без шуток, скажите, пожалуйста, какой из всех известных вам женщин вы больше всех сочувствуете?

– Моей маме, – ответила спокойно Ида и отправилась к бабушке с кружкою шалфейного питья, приготовленного на ночь старушке.

– Роман Прокофьич! – тихо позвала Софья Карловна художника.

Истомин нагнулся.

– Какая, я говорю, у меня дочь-то!

– Это вы об Иде Ивановне?

– Да, Идочка-то; я о ней вам говорю. Ведь это, ис-

тинно надо сказать правду, счастливая и пресчастливая я мать. Вы знаете, как это странно, вот я нынче часто слышу, многие говорят, и Фриц тоже любит спорить, что снам не должно верить, что будто сны ничего не значат; а я, как хотите, ни за что с этим не могу согласиться. Мы все с Авдотьюшкой друг другу сны рассказываем. – Старуха подвинулась к Истоми-ну и заговорила: – Представьте вы себе. Роман Прокофьич, что когда я была Иденькой беременна... Маничка, выйди, моя крошечка; поди там себе пелериночку поправь.

Маня, слегка покраснев, встала и вышла за сестрою.

– Да; так вы представьте себе, Роман Прокофьич, девять месяцев кряду, каждую ночь, каждую ночь мне все снилось, что меня какой-то маленький ребенок грудью кормит. И что же бы вы думали? родила я Идочку, как раз вот, решительно как две капли воды то самое дитя, что меня кормило... Боже мой! Боже мой! вы не знаете, как я сокрушаюсь о моем счастье! Я такая счастливая, такая счастливая мать, такие у меня добрые дети, что я боюсь, боюсь... не могу я быть спокойна. Ах, не могу быть спокойна!

Истомин, мне показалось, смутился при выражении этой внезапной и неудержимой грусти Софьи Карловны. Он хотел ее уговаривать, но это ему не удавалось.

– Представьте себе, если посудить здраво, – продолжала старуха, – ведь сколько есть на свете несчастных родителей – ведь это ужас! Ведь это, Роман Прокофьич, самое большое несчастье. У кого нет детей, говорят, горе, а у кого дурные дети – вдвое. Ну, а я – чем я этого достойна... – старуха пригнулась к полу и, как будто поднимая что-то, с страхом и благоговением шептала: – Чем я достойна, что у меня дети... ангелы?.. Мои ангелы! мои ангелы! – заговорила она громко при появлении в эту минуту в дверях обеих дочерей своих.

– Иденька! Иденька! дитя мое! друг мой! – звала она и, раскрыв дрожащие руки, без всякой причины истерически заплакала. – Идочка! Ангел, министр мой, что мне все что-то кажется страшное; что мне все кажется, что у меня берут вас, что мы расстаемся!

Она обхватила руками шею дочери и, не переставая дрожать и плакать, жарко целовала ее в глаза, в лоб и в голову.

– Успокойтесь, мама, я всегда буду с вами.

– Со мною, да, со мною! – лепетала Софья Карловна. – Да, да, ты со мною. А где же это моя немужка, – искала она глазами по комнате и, отпустив Иду, взяла младшую дочь к себе на колени. – Немужка моя! рыбка немая! что ты все молчишь, а? Когда ж ты у нас заговоришь-то? Роман Прокофьич! Когда она у нас за-

говорит? – обратилась опять старуха к Истомину, заправляя за уши выбежавшую косичку волос Мани. – Иденька, вели, мой друг, убирать чай!

Ида кликнула кухарку и стала сама помогать ей, а Софья Карловна еще раз поцеловала Маню и, сказав ей: «Поди гуляй, моя крошка», сама поплелась за свои ширмы.

– Идочка! бабушка давно легла? – спрашивала она оттуда.

– Давно, мамаша, – ответила Ида, уставляя в шкафы перемытую посуду, и, положив на карниз шкафа ключ, сказала мне: – Пойдемте, пожалуйста, немножко пройдемтесь, голова страшно болит.

Когда мы проходили залу, Истомин стоял по-прежнему с Маней у гравюр.

– Куда ты? – спросила Маня сестру.

– Хочу пройтись немножко; у меня страшно голова болит.

– Это вам честь делает, – вмешался Истомин.

– Да, значит голова есть; я это знаю, – отвечала Ида и стала завязывать перед зеркалом ленты своей шляпы. Ей, кажется, хотелось, чтобы и Маня пошла с нею, но Маня не трогалась. Истомин вертелся: ему не хотелось уходить и неловко было оставаться.

– Ида Ивановна, – спросил он, переворачивая свои гравюры, – да покажите же, пожалуйста, какая из этих

женщин вам больше всех нравится! Которая ближе к вашему идеалу?

– Ни одна, – довольно сухо на этот раз ответила Ида.

– Без шуток? У вас нет и идеала?

– Я вам этого не сказала, а я сказала только, что здесь нет ее, – произнесла девушка, спокойно вздергивая на пажу свою верхнюю юбку.

– А кто же, однако, ваш идеал?

– Мать Самуила.

– Вон кто!.. Родители мои, что за елейность! за что бы это она в такой фавор попала?

– За то, что она воспитала такого сына, который был и людям мил и богу любезен.

Истомин промолчал.

– А ваш идеал, сколько я помню, Анна Денман?

– Анна Денман, – отвечал с поклоном художник.

– То-то, я это помню.

– И должен сознаться, что мой идеал гораздо лучше вашего.

– Всякому свое хорошо.

– Нет-с, не все хорошо! Если бы вы, положим, встретили свой идеал, что ж бы, какие бы он вам принес радости? Вы могли бы ему поклониться до земли?

– Да.

– А я свой мог бы целовать.

– Вот это в самом деле не входило в мои соображения, – отшутилась Ида.

– Да как же! Это ведь тоже – «всякому свое». В песне поется:

Сей, мати, мучицу,
Пеки пироги;
К тебе будут гости,
Ко мне женихи;
Тебе будут кланяться,
Меня целовать.

Роман Прокофьич, видно, вдруг позабыл даже, где он и с кем он. Цели, ближайшие цели его занимали так, что он даже склонен был не скрывать их и поднести почтенному семейству дар свой, не завертывая его ни в какие бумажки.

Ида не ответила ему ни слова.

– Мама! – крикнула она, идучи к двери. – Посидите, дружок мой, в магазине. Запирать еще рано, – я сейчас вернусь.

Мы обошли три линии, не сказав друг другу ни слова; дорогой я два или три раза начинал пристально смотреть на Иду, но она не замечала этого и твердой походкой шла, устремив неподвижно свои глаза вперед. При бледном лунном свете она была обворожительно хороша и характерна.

Когда мы повернули к их дому, я решился сказать ей, что она, кажется, чем-то очень расстроена.

– Нет, чем же расстроена? У меня просто голова болит невыносимо, – ответила она, и с тем мы с нею и простились у их подъезда.

«А что это Софья Карловна все так совещательно обращается к почтенному Роману Прокофьевичу? – раздумывал я, оставшись сам с собою. – Пленил он ее просто своей милой короткостью, или она задумала женихом его считать для Мани?»

«Не быть этому и не бывать, моя божья старушка. Не нужна ему Анна Денман, с руки ему больше Фрина Мегарянка», – решил я себе, и не один я так решил себе это.

Вскоре после того, так во второй половине марта, Ида Ивановна зашла ко мне, посидела, повертелась на каком-то общем разговоре и вдруг спросила:

– Вы, кажется, немножко разладили с Истоминым?

– Не разладил, – отвечал я, – а так, что-то вроде черной кошки между нами пробежало.

– Я это заметила, – отвечала Ида и через минуту добавила: – Если вы нас любите, поговорите-ка вы с ним хорошенько...

Удивительные глаза Иды Ивановны диктовали, о чем я должен поговорить.

– Хорошо, Ида Ивановна, я поговорю.

– Вы помните, как мы с вами ели недавно орехи?

– Помню-с.

– Я думаю, ни один человек в своей жизни не съел за один раз столько этой гадости, сколько я их тогда перегрызла. Это, понимаете, отчего так елось?.. Это я себя кусала, потому что во мне вот что происходило.

Ида, сердито наморщив лоб, повернула рукою возле своего сердца.

– У меня ужасный слух, особенно когда я слышу то, чего не хотела бы слышать.

Она вздохнула.

– Я обо всем поговорю, – сказал я.

Девушка пожала мне руку, сказала: «Пожалуйста, поговорите» и ушла.

На другой день я зашел утром к Истомину. Он был очень приветлив и держал себя так, как будто между нами перед этим не было никакого дутья друга на друга.

– Вы не знаете, – начал он весело, – какие на меня; нынче посыпались напасти? Я ведь вчера совсем чуть не рассорился с Шульцем.

– За что это?

– А вот подите! Берта Ивановна рассуждала обо мне какой я негодный для жизни человек, и сказала, что если бы она была моею женой, так она бы меня кусала; а я отвечал, что я могу доставить ей это

удовольствие и в качестве чужой жены. Я, мол, очень люблю, когда хорошенькие женщины приходят в такое состояние, что желают кусаться. А она, дура, сейчас расплакалась. Да, впрочем, черт с ними! Я был и рад; очень уж надоело это столь постоянное знакомство.

– А у Норков как?

– Там... мы занимаемся, – сказал, принимая серьезное выражение, Истомин.

– И успеваете?

Художник взглянул на меня, улыбнулся и, расправляя ус, отвечал:

– И успеваем.

– А далее что будет, Роман Прокофьич?

– А-а! Вы, верно, ко мне и волей, и неволей, и своей охотой. Почтенное семейство, верно, уж не радо и дешевизне? Успокойте их, пожалуйста: это ведь полезно девочкам – это их развивает.

– А если этого развития, Роман Прокофьич, не желают совсем? Если его боятся?

– Да вздор все это! совсем никто ничего и не боится; а это все Идища эта сочиняет. Этакой, черт возьми, крендель выборгский, – проговорил он с раздражением, садясь к столу, и тут же написал madame Норк записку, что он искренно жалеет, что, по совершенному недосугу, должен отказаться от уроков ее дочери.

Написав это, он позвал своего человека и велел ему отнести записку тотчас же к Норкам.

После этого мы опять встречались с Истоминым изредка и только на минуты, а к тому же настала весна – оба мы спешили расстаться с пыльным Петербургом и оба в половине апреля уехали: я на Днепр, а Истомин – в Ялту.

В последнее время моего пребывания в Петербурге мы с Идой Ивановной ничего не говорили о Мане, и я, признаюсь, не замечал в Мане никакой перемены; я и сам склонен был думать, что Ида Ивановна все преувеличивает и что опасения ее совершенно напрасны, но когда я пришел к ним, чтобы проститься перед отъездом, Ида Ивановна сама ввела меня во все свои опасения.

Это было вечером, в довольно поздние весенние сумерки. Мани и madame Норк не было дома. Я только простился с старушкой-бабушкой и вышел снова в магазин к Иде Ивановне. Девушка сидела и вязала какую-то косынку.

– Присядьте, – сказала она. – Посидимте вдвоем напоследях.

Я сел.

– Истомин тоже едет? – спросила Ида.

– Да, он едет.

– Зачем он перестал совсем бывать у нас? Как это

нехорошо с его стороны.

– Ведь вы же сами, Ида Ивановна, – говорю, – этого желали.

– Нет, я этого никогда не желала, – отвечала она тихо, покачав головою. – Я желала, чтобы не было более уроков – это правда, я этого желала; но чтобы он совсем перестал к нам ходить, чтобы показал этим пренебрежение к нашему семейству... я этого даже не могла пожелать.

– Да что ж вам до этого пренебрежения?

– Да я совсем не о пренебрежении говорю.

– А для всего другого это еще лучше.

– Ннннет! Из-звините! не лучше, а это очень нехорошо; «для всего остального» это ужасно нехорошо! Я понимаю эту скверную, злую тактику, и вы ее тоже сейчас поймете, – сказала она вставая и через минуту возвратилась с знакомым мне томом Пушкина.

– Это что такое? – спросила она, поднося к моим глазам развернутую книгу и указывая пальцем на кланцифру.

– «Моцарт и Сальери», – прочитал я.

– А это? – спросила Ида тем же тоном и водя пальцем по чуть заметным желтоватым пятнам на бумаге.

– Слезы, что ль? – отвечал я, недоумевая.

– А это слезы! – произнесла, возвысив голос, Ида и с холодным презрением далеко отшвырнула от себя

книгу.

Так я оставил семейство Норков на целое лето.

Глава двенадцатая

Украинская осень удержала меня до тех пор, пока белые днепровские туманы совсем перестали о полудни спускаться облачною завесой и зарю взмывать волнами к голубому небу. Я переехал днепровский мост в последних числах ноября месяца; прострадал дней десять в дороге и, наконец, измученный явился в Петербург. Здесь уже было очень холодно и по обыкновению сыро, что, впрочем, все-таки идет Петербургу гораздо более, нежели его демисезонное лето, которое ему совсем не к лицу, не к чину и не к характеру, которое ему никогда не удастся, да и вовсе ему не нужно: зима с окаменевшею Невою, с катками, оперой и с газом в фонарях ему гораздо больше кстати.

А летом скучен этот город
С его туманом и водой!

Не дай вам бог, свежий человек, приехать сюда впервые летом: здесь нет ничего, чем тепло и мило лето в наших пыльных Кромах и в Пирятине:

Нет милых сплетен – все сурово;

Закон сидит на лбу людей,
Все удивительно и ново,
А нету теплых новостей.

Своею волею я никогда не поеду в Петербург летом и никому этого не посоветую. В тот год, к которому относится мой рассказ, я приехал сюда осенью, запасшись той благодатной силой, которую льет в изнемогший состав человека украинское светлое небо – это чудное, всеобновляющее небо, под которое знакомая с ним душа так назойливо просится, под которое вечно что-то манит не избалованного природой русского художника и откуда – увы! – также вечно гонят его на север ханжи, мораль и добродетель. Истомина я уже застал в Петербурге; он вернулся сюда назад тому месяца два, успел осмотреться и работал; даже, по собственным его словам, очень усердно и очень успешно работал. Встретились мы с ним приятелями; рассказали друг другу, как кто провел лето; а о Норках ни я его ничего не спросил, ни он мне не сказал ни слова.

Мне, как обыкновенно бывает после долгой отлучки, предстояло много неприятных хлопот: прозябшая квартира отогревалась плохо; везде, кроме одной комнаты, примыкавшей к мастерской Истомина, под потолками держалась зелеными облаками вредная сырость; окна холодно плакали и мерзли: все бы-

ло не на своем месте, и ни к чему не хотелось при-
тронуться. «Прислуга» моя, соблюдавшая до сих пор
непростительную экономию в топливе, теперь, в мо-
их же интересах, непременно хотела привести все в
должный порядок двумя своими старческими руками,
и оттого все у нас с нею шло ужасно медленно. Про-
шла неделя со дня моего возвращения в Петербург, а
я все еще ютился в одной комнате; ни к кому из знако-
мых не показывал глаз и только сумерками выходил
пройтись по набережной и тем же следом назад до-
мой.

Два или три раза, когда я возвращался с этих про-
гулок, навстречу мне на нашей лестнице попадалась
какая-то остроглазая черненькая девочка лет восем-
надцати, одетая в темное шерстяное платье, флане-
левый клетчатый салоп и красный терновый капор.
Так как по этой лестнице в целом этаже не жило нико-
го, кроме меня и Истомина, то мне несколько раз при-
ходило в голову, что это за девушка и куда она ходит?
Я даже осведомился об этом у своей Эрнестины Кре-
стьяновны, но моя «прислуга» не могла дать мне на
этот счет никакого определенного ответа. Потом слу-
чилось мне как-то дня через два выйти из дому часу в
девятом вечера, и только что я переступил порог сво-
ей двери, как у дверей Истомина предстал мне знако-
мый красный капор. При моем появлении капор быст-

ро повернулся ко мне спиной и сильно дернул два раза медную шишку звонка.

Дверь Истомина отворилась, и голос Янка сказал гостье:

– Оборвешь так, востроглазая!

Что же еще было добиваться, что это за девица? Человек же был и Янко; нужен же был, разумеется, и ему свой роман в жизни.

Позднейшие обстоятельства показали, что правильное появление вечерами на нашей лестнице этой востроглазой девушки в самом деле было достойно особенного внимания, но что хотя Янко, в качестве живого человека, имел полнейшее право на собственный роман в Петербурге, однако же тем не менее эта востроглазая особа совсем не была героинею его романа.

Глава тринадцатая

Есть на свете такие люди (и их очень немало), которые необыкновенно легко привязываются ко всему: к местам, к людям, к собакам, к изношенным туфлям, к дерзкой прислуге и к старому халату. Такие люди разлучаются с предметами своей привязанности только в случае самой крайней необходимости или по причинам, от них не зависящим; да и то для некоторых из таких людей всякая подобная разлука необыкновенно тяжела и долгое время совершенно невознаградима, а иногда и совсем непереносна. Я знал одного человека, очень умного, образованного и в своем роде стойка, который с геройским мужеством переносил от своей жены самые страшные семейные сцены за привязанность к старому ватному халату; и у этого халата ниже поясницы давно была огромная дыра, обшлага мотались бахромою, углы пол представляли ряд сметанных на живую нитку лент, или покровок. Этот привязчивый человек, опасаясь за судьбу своего износившегося друга, сам тщательно запирает его в гардеробный шкаф и всячески охранял его от рук давно покушавшейся на него супруги. Но, несмотря на все это, драгоценный халат все-таки в один прекрасный день исчез из гардероба и на месте его висел но-

вый. Таким это было горем для моего знакомого, что у него чуть не развилась настоящая nostalgia²⁸ со всеми явлениями рекрутской тоски по родине. Прошли с тех пор целые годы, а он все, глядишь, при каком-нибудь разговоре о хороших вещах и заговорит: «нет, вот, господа, был у меня один раз халат, так уж никогда у меня такого халата не будет – мягонький, приятный!»

– Да помилуйте, – утешали его, – у вас и этот халат прекрасный.

– Ну, уж какой же это прекрасный халат! Как его можно назвать прекрасным! – возражал мой знакомый. – Тот халат, я вам говорю, был такой, что сидишь в нем, бывало, точно в литерной ложе в Большом театре.

Я тоже имею несчастье принадлежать к несчастному разряду людей, одаренных непрактичною способностью привыкать и привязываться к вещам, к местам и – что всего опаснее – к людям.

Пока моя запущенная квартира устраивалась и приводилась в порядок, я по необходимости держался одного моего кабинетца или даже, лучше сказать, одного дивана, который стоял у завешенной сукном двери на половину Истомина; и так я за это время приучился к этому уголку, что когда в жилище моем все пришло в надлежащий порядок, я и тогда все-таки

²⁸ Тоска (греч.)

держался одного этого угла.

Один раз, в самые сумерки, усталый более чем когда-либо, я почувствовал легкую нервную дрожь, завернулся в теплый мерлушечий тулупчик, прилег в уголок дивана и забылся очень крепким и сладким сном. Снилось мне золотая Украина, ее реки, глубокие и чистые; седые глинистые берега, покрытые бледно-голубою каймою цветущего льна; лица, лица, ненавистно-милые лица, стоившие стольких слез, стольких терзающих скорбей и гнетущего горя, и вдруг все это тряслось, редело, заменялось темным бором, в котором лохматою ведьмою носилась метель и с диким визгом обсыпала тонкими, иглистыми снежинками лукавую фигуру лешего, а сам леший сидел где-то под сосною и, не обращая ни на что внимания, подковыривал пенькою старый лыковый лапоть. Сменялась и эта картина, и шевелилось передо мною какое-то огромное, ослизшее, холодное чудовище, с мириадами газовых глаз на черном шевелящемся теле, по которому ползли, скакали, прыгали и спотыкались куда-то вечно спешащие люди; слышались сиплые речи, детские голоса, распеваящие под звуки разбитых шарманок, и темный угол моей комнаты, в окне которой слабо мерцал едва достигавший до нее свет уличного фонаря. Мне все спалось; спалось несколько слабее, но еще слаще, и, ютясь все крепче в уголок

моего дивана, я вдруг услышал, как чей-то маленький голос откуда-то из-под шерстяной обивки говорил кому-то такие ласковые речи, что именно, кажется, такие речи только и могут прислышаться во сне. Никак я не мог запомнить этих хороших слов и стал просыпаться.

– Мой идол... идол... *и-д-о-л!* – с страстным увлечением говорил маленький голос в минуту моего пробуждения. – Какой ты приятный, когда ты стоишь на коленях!.. Как я люблю тебя, как много я тебе желаю счастья! Я верю, я просто чувствую, я знаю, что тебя ждет слава; я знаю, что вся эта мелкая зависть перед тобою преклонится, и женщины толпами целыми будут любить тебя, боготворить, с ума сходить. Моя любовь читает все вперед, что будет; она чутка, мой друг! мой превосходный, мой божественный художник!

Роман Прокофьевич сделал слабое, чуть слышное движение.

– Постои, постой! – остановил его маленький голос. – Остайся так; постой передо мною на коленях. Я так люблю ласкать тебя, мой славный. Ты так *высок*, что я не достаю твоих кудрей, когда ты встанешь. А я люблю! как я люблю вот эти черные – вот эти демонские кудри!.. Ох, когда б ты знал, как я люблю тебя, мой Ромцю! Как много я тебе желаю счастья, славы

и... любви... Постой, постой!.. дай мне сказать тебе про все. Ты знаешь... я дышать не могу, когда вдвоём с тобою. В груди тут у меня, нет... этого... нет ничего того, что там у всех бывает, а только – сердце. Огромное, во всей груди все сердце... и в этом сердце все огонь; огонь и рана – Ромцю... И мне так хочется тогда... вот и теперь... такое что-то сделать для тебя... что было бы выше сил моих... Когда бы ты знал, как хочется мне быть для тебя несчастной... такой несчастной, чтобы мое несчастье испугало бы всех... а чтобы ты... О, чтобы ты был счастлив! счастлив!.. и чтобы это счастье я тебе купила! Но... я не знаю... а ты не говоришь, что сделать для тебя. Как мне погибнуть? как? Учи меня, учи, учи скорее, Ромцю...

Маленький голос задрожал и продолжал, трясясь и млея:

– Мне снилось раз, какое счастье... Не помню, я чего-то начиталась, усталая уснула и вижу, что на тебе венок; и что тебя везут в какой-то колеснице; что женщины все на коленях стоят перед тобою и говорят про что-то, про славу, про любовь или еще про что-то... а я ничего не умею сказать тебе. Не умею даже сказать, что я люблю тебя и... Постой, Ромцю! Постой, не уходи... Я бросилась под лошадей твоих и их копыта, и эти острые колеса впились мне в грудь... и так легко мне было, Ромцю. Ах, как легко! ах, как легко! –

какое было счастье! О, где тот Рим, в который я могу нести вслед за тобой твой мольберт, холст, твою палитру, краски... Боже! Боже! какие горести, какое зло ты можешь мне послать, чтоб я забыла за ними благословлять тебя, если только один луч его славы упадет на мою голову? Оставь, брось этот страшный город! Брось деньги, брось, возненавидь их... Пойдем! Пойдем отсюда, мой Ромцю! Мы станем жить одни, тихонько; к нам не заглянет скука – не бойся. И когда ты будешь счастлив, славен... и тогда... О, что ж тогда?.. О, говори мне, что ж тогда, когда все будут знать, что я тебя лелеяла, что я тебе служила?.. что я твой друг!..

– Что ты моя любовь.

– Что я твоя любовь!.. О нет, не нужно, чтобы это знали, пока я буду жить... Нет... тогда... я поскорей умру, и на моей могиле пускай напишут, что *ты* любил меня! Живой ты мне одной, наедине... скажи одно *спасибо*.

– А ты мне чем ответишь?

Вышла коротенькая паузка, после которой слабый голосок стыдливо и восторженно сказал:

– Я чем отвечу?

– Поцелуем?

– Да.

– Одним?

– Ах, полно говорить об этом! Миллионом, если хочешь.

– Миллион! миллион! ох, как далеко тот миллион!
Истомин смолчал секунду и прошептал:

– Сейчас... теперь... сию минуту...

– Руки! руки больно! руки!

– Один сейчас, в задаток! Сейчас, сейчас – он все равно один из моего миллиона.

– Один... ты лжешь; ты страшен...

– Нет, нет, ничего, не бойся. Я ведь один.

Она была в смущении и молчала.

– Отказ?

– Нет; на, целуй.

– Да; раз... один; но бесконечный! – и он смял и задушил ее в своих объятиях.

Позднее опять слышался разговор, но такой частый, что его понять было невозможно; слова неслись как мелкий песок, сгоняемый ветром с пригорка в долину. Мне опять стало спаться и стала сниться эта долина, сухая, серая, пыльная, без зелени, совсем без признака жизни; ветер гнал в нее тучи песчаной пыли, свивал их столбом облачным и шибко поднимал вихрем к небу. В самой середине этого крутящегося серого столба мелькала тоже совершенно серая, из пыли скатанная человеческая фигура; она долго вертелась валуном и, наконец, рассыпалась, и когда она рассы-

палась, я увидал, что это была бабушка Норк.

Я проснулся совсем; за стеной у меня было все тихо; на улице мерцали фонари; где-то ныла разбитая шарманка, и под ее унылые звуки разбитый голос пел:

Танцен дами, стид откинов,
Кавалерен без затей,
Схватит девишка, обнимет
И давай вертеться с ней.

Глава четырнадцатая

Был вскоре за этим новый человеконенавистный петербургский день с семью различными погодами, из которых самая лучшая в одно и то же время мочила и промораживала. Пробитый насквозь чичером, чередовавшимся с гнилою мокрядью и морозом, я возвратился домой с насморком и лихорадочным ознобом и, совсем больной, укутавшись потеплее, повалился на свой уютный диван. Дышалось мне тяжело, и во всем теле беспрестанно ощущалась неприятная склонность вздрагивать; но тем не менее я, должно быть, заснул очень скоро, потому что скоро же очень из моей пустой и темной залы стали доноситься до меня мягкие, но тяжелые медвежьи шаги, сап, глубокие вздохи и какое-то мягкое кувырканье. Прошла еще пара минут, и в дверях, прямо против моего лица, показался на задних лапах огромный, бурый с проседью медведь. Он держался одною переднею лапою за притолку, медленно покачивался и, далеко высунув свой пурпурно-красный язык, тяжело дышал и щурился. От него, как от раскаленной чугунной печки, било в меня несносным, сухим жаром; лишенный всякого эпителия, тифозный язык моего гостя мотался и вздрагивал; его липнущие маленькие глаза наво-

дили дрему непробудную. Медведь подошел к моему дивану, закрыл мое лицо своей пушистой грудью и начал лизать мою голову своим острым языком. Не мог я определить – хорошо мне от этого или худо; не мог я крикнуть, не в силах был повернуться. Сгорая сухим жаром горячки, я беспрестанно путался в каких-то нелепых представлениях, слышал то детский шепот, то медвежьи вздохи, то звон и заунывную песню «про солому». Это становилось несносно; хотелось во что-нибудь вслушиваться, что-нибудь понять и проснуться, но развинченное тело лежало пластом, и всякие трезвые впечатления были чужды больной моей голове. В таком состоянии прошло, должно быть, очень много времени, прежде чем окружающий меня горячий воздух стал как будто немного тонеть, разрежаться, и с тем вместе заворчался и начал спускаться к ногам давивший меня медведь.

Едва он чуть поосвободил мою голову, до моего слуха сейчас же, с первою же струйкою свежего воздуха, донеслось какое-то знакомое, необыкновенно ласковое слово.

Я ту же секунду по этому голосу узнал знакомый маленький голос, но мозг мой все-таки беспрестанно сбивался с пути, усыпал и путался. Ласковые слова долетали до меня с различными перерывами и по временам совсем как-то доходили звуками без значе-

ния.

– Яне могу, – говорил мужской голос, – я люблю тебя, тебя одну, и тебя первую люблю я. Я чувствую, что при тебе только я становлюсь хоть на минуту человеком.

– Не говори этого, Ромцю; ты сам не знаешь, чего ты хочешь, – отвечал маленький голос.

– Я решил это, – говорил Роман Прокофьич, – слышишь, я решил. Я готов сделать это против твоей воли.

– Поди, поди лучше сюда и сядь!.. Сиди и слушай, – начинал голос, – я не пойду за тебя замуж ни за что; понимаешь: *низа что на свете!* Пусть мать, пусть сестры, пусть бабушка, пусть все просят, пусть они стоят передо мною на коленях, пускай умрут от горя – я не буду твоей женой... Я сделаю все, все, но твоего несчастья... нет... ни за что! нет, ни за что на свете!

– О чем ты плачешь?

– О том, что ты меня не понимаешь. Ты говоришь, что я ребенок... Да разве б я не хотела быть твоею Анной Денман... но, боже мой! когда я знаю, что я когда-нибудь переживу твою любовь, и чтоб тогда, когда ты перестанешь любить меня, чтоб я связала тебя долгом? чтоб ты против желания всякого обязан был работать мне на хлеб, на башмаки, детям на одеяла? Чтоб ты меня возненавидел после? Нет, Роман! Нет!

я не так тебя люблю: я за *тебя* хочу страдать, но не хочу твоих страданий.

– О боже мой, о боже мой! как хороша, как дивно хороша ты, Маня! – прошептал Истомина.

– Опять все красота!

– Всегда о красоте. Она моя! моя! Скажи скорей: моя она?

– Твоя.

– Уйди ж теперь.

– Зачем?.. Куда идти?

– Беги, спасайся... Ты думаешь, я человек? Нет; я не человек: в меня с твоим вчерашним поцелуем вошел нечистый дух, глухой ко всем страданиям и слезам... беги... Он жертвы, жертвы просит!

– Жертвы!

– Да! тебя, тебя он требует на жертву.

– На жертву?.. Я готова.

– Ребенок! понимаешь ли, что ты сказала? Понятно ли тебе, какой я жертвы требую?

– Нет, – решительно ответила Маня.

– О дьявол! тебе такого чистого ягненка еще никто не приносил на жертву!

– Я ничего не понимаю. Мне жаль тебя, мой Ромцю; жаль, тебя мне жаль!

– Так поцелуй меня скорее.

– Целую; на, целую!

– Целуй... так, как ты меня целуешь... да, как ты сестер целуешь... иначе ждет беда!.. Нет; я не поцелую тебя!

И долго, долго было и тихо и жутко; и вдруг среди этой мертвой тишины сильный голос нервно вскрикнул:

– Я погублю тебя!

И в то же мгновение прозвучало тихое, но смелое:

– Губи!

«Маня! Маня!» – усиливался я закричать сколько было мочи, но чувствовал сквозь сон, что из уст моих выходили какие-то немые, неслышные звуки. «Маня!» – попробовал я вскрикнуть в совершенном отчаянии и, сделав над собой последнее усилие, спрыгнул в полусне с дивана так, что старые пружины брязгнули и загудели.

На этот шум из-за истоминских дверей ответил слабый, перекушенный стон.

Как ошеломленный ударом в голову, выскочил я в другую комнату и прислонился лбом к темному запотевшему стеклу. В глазах у меня вертелись тонкие огненные кольца, мелькал белый лобик Мани и ее маленькая закушенная губка.

Я перебежал впопыхах свою залу, схватил в передней с вешалки пальто, взял шляпу и выскочил за двери. Спускаясь с лестницы, слабо освещенной крошеч-

ною каминною лампою, я на одном повороте, нос к носу, столкнулся с какой-то маленькой фигурой, которая быстро посторонилась и, как летучая мышь, без всякого шума шмыгнула по ступеням выше. Когда эта фигурка пробежала под лампою, я узнал ее по темному шерстяному платью, клетчатому фланелевому сапогу и красному капору.

Спешными и неровными шагами обогнул я торопливо линию, перебежал проспект и позвонил у домика Норков.

Мне отперла Ида Ивановна. Держа в одной руке свечу, она посмотрела на меня без всякого удивления, отодвинулась к стенке и с своей обыкновенной улыбкой несколько комически произнесла:

– Честь и место.

– Здравствуйте, Ида Ивановна! – начал я, протягивая ей руку.

– Проходите, проходите, там успеем поздороваться, – отвечала девушка, поворачивая в двери довольно тугий ключ.

В маленькой гостиной сидели за чаем бабушка и madame Норк.

– О, хорошо ж вы нас любите! – первая заговорила навстречу мне старушка.

– Да, хорошо вы с нами сделали! – поддерживала ее с относящимся ко мне упреком madame Норк. – Ме-

сяц, слышим, в Петербурге и навестить не придете. Я Иденьке уже несколько раз говорила, что бы это, говорю, Иденька, могло такое значить?

– А Ида Ивановна, – спрашиваю, – что же вам отвечала?

– Не помню я что-то, что она мне такое отвечала.

– Кажется, ничего, мама, не отвечала, – откликнулась Ида и поставила передо мною стакан чаю.

Я осведомился о Берте Ивановне, о ее муже и даже о Германе Вермане спросил и обо всех об них получил самые спокойные известия; но спросить о Мане никак не решался. Я все ждал, что Маня дома, что вот-вот она сама вдруг покажется в какой-нибудь двери и разом сдует все мои подозрения.

– А слышали вы, у нас в анненской школе недавно какое ужасное несчастье-то было? – начала после первых приветствий Софья Карловна.

– Нет, – говорю, – не слыхал. Что такое?

– Ах, ужасно! Представьте себе, одна маленькая девочка стальное перо проглотила.

– Это бывает в школах, – подсказала, вздохнув, бабушка.

– Да, это бывает по трем причинам, – проговорила Ида Ивановна.

– Что такое, друг мой, по трем причинам? – прошептала старушка.

– Это, бабушка, так говорится.

– Как говорится?

– Ах, боже мой, бабушка! Ну, просто так говорят, что все, что бывает, бывает по трем причинам.

– Все-то ты, Иденька, врунья; всегда ты все что-нибудь врешь, – произнесла серьезно Софья Карловна и тихонько добавила: – Ох, эти дети, дети! Сколько за ними, право, смотреть надо! Вы вот не поверите, кажется уж Маня и не маленькая, а каждый раз, пока ее не дождешься, бог знает чего не надумаешься?

– А где же, – говорю, – Марья Ивановна?

– А на уроке. Уроки пения тут эти Шперлинги затеяли; оно, конечно, уроки обходятся недорого, потому что много их там – девиц двадцать или еще и больше разом собирается, только все это по вечерам... так, право, неприятно, что мочи нет. Идет ребенок с одной девчонкой... на улице можно ждать неприятностей.

– Kleine²⁹ неприятность не мешает grosse³⁰ удовольствию, Mütterchen,³¹ – пошутила Ида Ивановна.

– Ох, да полно тебе, право, остроумничать, Ида! – отвечала с неудовольствием madame Норк. – Совсем неумно это твое остроумие. А мы нынче тоже как-то прескучно провели время, – продолжала она, обра-

²⁹ Маленькая (нем.)

³⁰ Большому (нем.)

³¹ Маменька (нем.)

тившись ко мне. – Ездили раза два в Павловск, да все не с кем, все и там было скучно.

– С кукушкой говорили, – сказала Ида.

– Да; сядем да спрашиваем, сколько кому лет жить?

Мне всё семь или восемь, а Маня спросит, она сразу и замолчит.

– А вам, Ида Ивановна?

– О, ей, кажется, сто лет куковала. Уж она, бывало, кричит ей: «будет, будет! довольно!», а та все кукует.

– Я бессмертная, – проговорила Ида.

– Ну да, как же, бессмертная!

– Увидите.

– Ну да, рассказывай, рассказывай! Глупая ты, право, Ида! – пошутила, развеселившись, старушка.

Ида, кажется, этого только и добивалась: она сейчас же обняла мать и, держа ее за плечи руками, говорила весело:

– Все умрут, мамочка, на Острове, все, все, все; а я все буду жить здесь.

– Почему ж это так? – смеялась, глядя в глаза дочери, старушка.

– А потому, что без меня, мама, здесь ничему быть нельзя.

– О, шутиха, шутиха!

Мать с дочерью снова весело обнялись и поцеловались.

В это же время у парадной двери резко брязгнул и жалобно закачался звонок.

Софья Карловна вздрогнула, вскочила со стула и даже вскрикнула.

– Ну, да что же это такое со мной в самом деле? – произнесла она, жалуясь и держась за сердце. – Ида! чего же ты стоишь?

Ида Ивановна пошла отпереть дверь и мимоходом толкнула меня за ширму, чтобы показать Мане сюрпризом.

Через секунду в магазине послышалось разом несколько легких шагов и Ида Ивановна сказала, что у них был я и только будто бы ушел сию минуту.

Маня ничего не ответила.

– Вы его не встретили? – продолжала Ида Ивановна.

– Нет, не встретили, – уронила чуть слышно Маня. Она сняла с головы капор, подошла прежде к материнской, а потом к бабушкиной руке и молча села к налитой для нее чашке.

Я глядел на Маню сквозь широкий створ ширменных пол; она немного подвыросла, но переменилась очень мало; лицо ее было по обыкновению бледно и хранило несколько неестественное спокойствие, которому резко противоречила блудящая острота взгляда.

Я вышел из-за ширмы и подошел к столу. Маня прищурила свои глаза, всмотрелась в меня и сказала:

– Так вот это в чем дело!

С этими словами она протянула мне свою ручку, спросила, как я здоров, давно ли приехал, и опять спокойно занялась чаем, а в комнату вошла горничная девушка с трубкою перевязанных лентою нот и положила их на стол возле Мани. Хотя на этой девушке не было теперь клетчатого салопя, но на ней еще оставался ее красный капор, и я узнал ее по этому капору с первого взгляда.

«Кончено!» – подумал я себе, глядя на Маню. А она сидит такая смирененькая, такая тихонькая, что именно как рыбка, и словечка не уронит. Даже зло какое-то берет, и не знаешь, на что злиться.

«А впрочем, и что же мне такое в самом деле Манюшка Норк? На погосте жить – всех не оплачешь», – рассуждал я снова, насилу добравшись до своей постели.

На другое утро я уж совсем никак не мог подняться; прокинешься на минуточку и опять сейчас одолевает тяжелая спячка. Я послал за доктором и старался крепиться. Часу во втором ко мне вошел Истомин; он был необыкновенно счастлив и гадок; здоровое лицо его потеряло всю свою мягкость и сияло отвратительнейшим самодовольством.

– Нездоровы? – спросил он меня отрывисто.

Я отвечал, что болен, и не сказал ему более ни слова. Истомин отошел к окну, постоял, побарабанил пальцами по стеклам и затем, заметив мне наставительно, что «надо беречься», вышел.

С этой минуты я не видал ни Истомина, ни Мани в течение очень долгого времени, потому что у меня начался тиф, после которого я оправлялся очень медленно.

Глава пятнадцатая

Подходило дело к весне. В Петербурге хотя еще и не ощущалось ее приближения, но люди, чуткие к жизни природы, начинали уже порываться вдаль, кто под родные сельские липы, кто к чужим краям. «Прислуга» моя донесла мне, что Роман Прокофьевич тоже собирается за границу, а потом вскоре он и сам как-то удостоил меня своим посещением.

– Думаю поехать в Италию, – объявил он мне.

Я принял это известие очень спокойно и даже не вспомнил, кажется, в эту минуту о Мане, а только спросил Истомина – как же быть с квартирой?

– А пусть все так и остается, как было; я к осени ворочусь.

– Ну, – говорю, – и прекрасно.

Недели через полторы или через две он уехал и не подавал ни мне, ни слуге своему никакой весточки. На первых порах после его отъезда он прислал несколько писем Мане, которые были адресованы в его пустую квартиру. За этими письмами прибежала та же черномазенькая девочка, и через нее они, вероятно, исправно попадали в руки Мани. Я не учащал к Норкам и, когда уж необходимо было завернуть к ним, заходил на самое короткое время. Ужасно тяжело бы-

ло мне всех их видеть и думать: «ах, друзья, не знаете вы, какая над вами беда рухнула!» Что же касается до самой Мани, то кроткая, всегда мало говорившая, всегда молчаливая девушка ничем не выдавала своего душевного состояния: она только прозрачнела, слегка желтела, как топаз, и Софья Карловна не раз при мне печалилась, что у Мани волосы начали ужасно сечься и падать.

Старушки делали мне часто выговоры и замечания, что я их разлюбил и забываю, и Маня тоже несколько раз спрашивала меня, чем они мне надоели? Только одна Ида никогда не заводила об этом никакой речи ни всерьез, ни в шутку. Я очень хорошо чувствовал, что это не было со стороны Иды холодным равнодушием к характеру наших отношений, а сдавалось мне, что она как будто видела меня насквозь и понимала, что я не перестал любить их добрую семью, а только неловко мне бывать у них чаще. Не знаю я, чем Ида объясняла себе эту мою неловкость, но только она всегда деликатно освобождала меня от всяких вопросов, и после какого бы промежутка времени мы с нею ни встретились, она всегда заговаривала со мною одинаково: коротко, ровно и тепло, точно только мы вчера расстались и завтра свидимся снова.

Раз как-то, посреди лета, я не был у Норков кряду с месяц и думал, что как бы мы уж и в самом де-

ле не разошлись вовсе. В тот же самый день, как мне пришла в голову эта мысль, только что я уселся было поздним вечером поработать, слышу – снизу, с тротуара какой-то женский голос позвал меня по имени. Взглянул я вниз – смотрю, Ида Ивановна и с нею под руку Маня. Обе они в одинаких черных шелковых казакинах, и каймы по подолам бережевых платьев одни и те же, и в руках совершенно одинаковые темные антукуб. На длинных тротуарах линии, освещенной белым светом летней ночи, кроме двух сестер Норк, не было видно ни души.

– Что это вы делаете дома? – спросила меня, спокойно глядя вверх, Ида.

Маня только кивнула мне головкой.

При бледном свете белой ночи я видел, как личико Мани хотело сложиться в самую веселую улыбку, но это не удалось ей.

– Что я делаю? – Хочу поработать немножко, Ида Ивановна.

– Охота!

– Das muss, Ида Ивановна, а не охота.

– Sie müssen,³² – отлично; но что это вы в самом деле совсем глаз не показываете? Не думаете ли вы, чего доброго, что за вами ухаживать станут? Дескать: «куманечек, побывай, душа-радость, побывай!»

³² Вы должны (нем.).

Глаза Иды Ивановны потихоньку улыбались, и лицо ее по обыкновению было совершенно спокойно. Маня опять хотела улыбнуться, но тотчас потупилась и стала тихо черкать концом зонтика по тротуарной плите.

– А кстати о выстреле, что ваш сосед делает? – спросила Ида Ивановна.

«Это в самом деле, – думаю, – кстати о выстреле», и отвечаю, что Истомин за границею.

– Я это знаю: я хотела спросить, что он там делает?

– Не знаю, право, Ида Ивановна; верно хандрит или работает.

– А вы разве не переписываетесь?

Маня прилегла к сестриному плечу.

– Нет, – говорю, – переписывались, да вот месяца с полтора как-то нет от него ни слова.

– Таки совсем ни слова?

– Совсем ни слова.

– Вот постоянство здешних мест!

– Места, Ида Ивановна, непостоянные.

– Верно так вам и следует, – отвечала Ида и, кивнув головкой, пошла, крикнув мне: – Пусть вам ангелы святые снятся.

Маня, трогаясь с места, еще раз хотела мне улыбнуться как можно ласковей, но и на этот раз улыбка не удалась ей и свернулась во что-то суровое и тревожное.

«Однако что ж бы это такое могло значить? – думал я, когда девушки скорыми шагами скрылись за углом проспекта. – Неужто Маня все рассказала сестре? неужто у Иды Ивановны до того богатырские силы, что, узнав от Мани все, что та могла рассказать ей, она все-таки еще может сохранять спокойствие и шутить? Это уж даже и неприятно, такое самообладание!» И мне на минуту показалось, что Ида Ивановна совсем не то, чем я ее представлял себе; что она ни больше, ни меньше как весьма практическая немка; имеет в виду поправить неловкий шаг сестры браком и, наконец, просто-напросто *ищет зятя своей матери* ... Похвальная родственная заботливость, и только. Пришло мне в голову также, что, может быть, и самая Маня надумалась, нашла свои странные экзальтации смешными и сама пожелала сделать Истомина своим мужем... А может быть даже, что и все это была одна собачья комедия, в которой и Маня тоже искала *зятя своей матери*.

Даже скверно становилось от этих предположений.

«Не может ничего этого быть! – уговаривал я себя на другой день. – Верно, Ида Ивановна знает очень немного; верно, она без всяких слов Мани знает только одно, что сестра ее любит Истомина, и замечает, что неизвестность о нем ее мучит».

Дней через пять или через шесть, в течение кото-

рых я по-прежнему ни разу не собрался к Норкам и оставался насчет всех их при своем последнем предположении, в одно прекрасное утро ко мне является Шульц.

– Вот, батюшка мой, история-то! – начал он, не вынимая изо рта сигары и вытаскивая из кармана какое-то измятое письмо.

– Что, – спрашиваю, – за история?

– Да такая, – говорит, – история, что хуже иной географии: Истомин дрался на дуэли и очень дурно ранен.

Фридрих Фридрихович дал мне немецкое письмо, в котором было написано: «Шесть дней тому назад ваш компатриот господин фон Истомин имел неприятную историю с русским князем N, с женою которого он три недели тому назад приехал из Штуттгарта и остановился в моей гостинице. Последствием этой Geschichte³³ у г-на фон Истомина с мужем его дамы была дуэль, на которой г-н фон Истомин ранен в левый бок пулею, и положение его признается врачами небезопасным, а между тем г-н фон Истомин, проживая у меня с дамою, из-за которой воспоследовала эта неприятность, состоит мне должным столько-то за квартиру, столько-то за стол, столько-то за прислугу и экипажи, а всего до сих пор столько-то (стояла весьма

³³ Истории (нем.)

почтенная цифра). Да сверх того (продолжало письмо) теперь я несу для г-на фон Истомина все издержки по лечению и различным хлопотам, возникшим из этого дела, а наличных денег у г-на фон Истомина нет. Вследствие всего этого г-н фон Истомин поручил мне написать вам о его положении и просить вас выслать мне мой долг и г-ну фон Истомину тысячу русских рублей, с переводом на мое имя. Парма, год, месяц и число. Адрес: такому-то хозяину „Hôtel de Venise“.»³⁴

– Посылать или не посылать? – спросил Шульц, видя, что я дочитал письмо до конца.

Я был в большом затруднении, что ответить.

– Ну, а если это подлог? – допрашивал меня Шульц.

– Как это узнать, Фридрих Фридрихович?

– То-то, я ведь говорю, что все это, как говорится, оселок: тут сам черт семь раз ногу сломает и ни разу ничего не разберет.

– Риск, – отвечаю, – конечно, есть.

– Ну, только уж воля ваша, а мой згад всегда такой, что лучше рисковать деньгами, чем человеком. Деньги, конечно, вещь нужная, но все-таки, словом сказать, это дело нажитое.

Я с особенным удовольствием согласился с Шульцем и, провожая его к двери, с особенным удовольствием пожал его руку. Фридрих Фридрихович уехал

³⁴ Отель «Венеция» (франц.)

от меня с самым деловым выражением на лице и часа через два заехал с банкирским векселем на торговый дом в Парме.

Деньги, нужные на выручку Истомина, были отосланы; но что это была за дуэль и вообще что это за история – разгадывать было весьма мудрено и трудно.

«Одно только очень желательно, – думал я в этот день по уходе Шульца, – желательно, чтобы Фридрих Фридрихович сохранил втайне это свое хорошее великодушие и не распространился об этой истории у Норков. Только нет – где уж Фридриху Фридриховичу отказать себе в таком удовольствии».

Так-таки все это на мое и вышло, и вот как я это узнал.

Глава шестнадцатая

Густыми сумерками на другой день слышу у себя звонок, этакий довольно нерешительный и довольно слабый звонок, а вслед за тем легкие, торопливые шаги, и в мою комнату не вошла, а вбежала Маничка Норк.

– Убит? – прошептала она, подскочив ко мне и быстро дернув меня за руку.

Так варом меня и обварило.

– Только ранен, – отвечал я как можно спокойнее.

Маня выпустила мою руку и села в кресло. Я опустил у окон шторы, зажег свечи и взглянул на Маню: лицо у нее было не бледно, а бело, как у человека зарезанного, и зрачки глаз сильно расширены.

Я пробовал два или три раза говорить с нею, но она не отвечала ни слова и, наконец, сама спросила:

– Это что такое – «кстати о выстреле»?

Я не понял.

– Сестра третьего дня сказала вам: «кстати о выстреле» – что это такое значило? – повторила Маня.

– Так, – говорю, – есть какой-то анекдот о хвастуне, который сделал один раз удачный выстрел и потом целую жизнь все рассказывал «кстати о выстреле».

– Это неправда, – отвечала Маня, покачав головой.

– Уверяю вас, что это не имело никакого другого значения.

– Вы знали, и Ида знала об этом несчастье – об этом ужасном несчастье!..

Маня закрыла свое личико белым платком; она не плакала, но ее тоненькие плечики и вся ее хрустальная фигурка дрожала и билась о спинку кресла.

Я принес стакан воды и несколько раз просил Маню выпить. Она отняла от сухих глаз платок и, не трогая стакана, быстро спросила меня:

– Кто это, который убил его?

– Вовсе он не убит, – отвечал я тихо и подвинул ей стакан с водою.

Маня нетерпеливо толкнула от себя стакан, так что вода далеко плеснулась через края по столу, и сама встала с кресла.

– Марья Ивановна! – сказал я, как умел мягче.

– Что?

– Послушайте меня, Марья Ивановна. Не идите сейчас домой: успокойтесь прежде хоть немножко.

Маня постояла еще с минуту и опять спросила:

– Что такое? я не поняла.

– Хоть воды глоток выпейте.

– Оставьте, – отвечала она шепотом и нагнулась в одну сторону, взявшись рукою за кресло.

Через минуту она распрямилась, сама выпила весь

стакан воды, простилась со мной и сказала, что идет домой.

Со страхом и трепетом ждал я большой истории у Норков, но во всяком случае не такой, какая совершилась.

Часу в третьем ночи, только что я успел заснуть самым крепким сном, вдруг слышу, кто-то сильно толкает меня и зовет по имени. Открываю глаза и вижу, что передо мною стоит, со свечою в руках, моя старуха.

– Сейчас надо, – проговорила она, суя мне под нос маленькую записочку:

«Придите к нам сию минуту.

Ида»

Это все, что было написано на поданном мне крошечном клочке бумажки.

Спрашиваю старуху:

– Кто принес эту записку?

Говорит, что принесла девочка, сунула в дверь и ушла, сказав, что ей некогда ждать ответа.

Я оделся в одну минуту и побежал к Норкам. Ночь стояла темная и бурная; хлестал мелкий дождь, перемешанный с снегом, и со стороны гавани, через Смоленское поле, доносились частые выстрелы сигнальной пушки. Несмотря на то, что расстояние, которое я должен был перебежать, было очень невелико, я начал сильно дрожать от нестерпимой сивер-

ки и чичера. Подъезд Норков, против обыкновения, был отперт, и в магазине на прилавке горела свеча в большом медном подсвечнике. С первого шага за порог чувствовалось, что сюда пришло в гости ужасное несчастье. Что-то феральное и неотразимое чудилось во всем: в зажженных и без всякого смысла расставленных свечах, в сбитых мебельных чехлах, в сухом и бестолковом хлопанье дверей. Тревога такой обстановки сообщается ужасно быстро, и я почувствовал ее, как только вошел в залу. Здесь на фортепиано горела без всякой нужды другая свеча и рядом с нею ночная лампочка, а на диване лежало что-то большое, престранное-странное, как будто мертвец, закрытый белой простынею. Я подумал, что это оставлены на ночь шубы; но из-под одного края простыни выставлялись наружу две ноги, обутые в белые чулки и голубые суконные туфли. Простыня не шевелилась и не двигалась. Господи, что бы это такое значило? Дверь из залы в комнату Софьи Карловны была открыта, и она сидела прямо против двери на большом голубом кресле, а сзади ее стоял Герман Верман и держал хозяйку за голову, как будто ей приготавлились дергать зубы. В ногах Софьи Карловны стояла на коленях кухарка и выжимала в руках мокрое полотенце. Увидев меня, madame Норк горько-прегорько заплакала и задергала головою в крепких ладонях

Германа.

– Что это у вас такое? – спросил я чуть слышно, нагинаясь к уху кухарки.

Софья Карловна еще отчаяннее воззрилась в меня необыкновенно жалобным взором и часто залепетала:

– Циги-циги-циги.

Я взял ее за руку и пригнулся ухом к ее лицу.

– Циги-циги-циги, – лепетала старуха, качая головою и заливаясь слезами. Язык ни за что ей не повиновался; она это чувствовала и жаловалась одними слезами.

В коридорчике, отделявшем комнату Софьи Карловны от комнаты девиц, послышался легкий скрип двери и тихий болезненный стон, в котором я узнал голос Мани, а вслед за тем на пороге торопливо появилась Ида Ивановна; она схватила меня мимоходом за руку и выдернула в залу.

– Доктора? – спросил я, глядя в лицо.

– Акушера, – прошептала она, крепко сдавив мою руку.

Софья Карловна во все глаза глядела то на меня, то на Иду Ивановну и плакала; Верман по-прежнему держал ее за голову, а кухарка обкладывала лоб мокрым полотенцем.

– А бабушка? – шепнул я Иде, надевая брошенное

на фортепиано пальто.

Ида погрозила мне пальцем и, приложив его к своим губам, приподняла угол простыни с лежавшей на диване кучи. Из-под этого угла выставилось бледно-синее лицо старухи.

– Умерла!

– И в Маниной комнате, – отвечала Ида. – И не забудьте, – продолжала девушка, – что она *встала* с своего кресла, что она, безногая, *пошла*, *прокляла* ее и умерла. Ах, что здесь делается! что здесь делается! Я не знаю, как я в эту ночь не сошла с ума.

Я не утерпел и сказал:

– Да вы, Ида Ивановна, крепитесь.

– Я крепка, – отвечала, вздрогнув, Ида. – О-о! не бойтесь, в несчастьи всякий крепок.

В эту секунду из дальних комнат опять донесся слабый стон, и Софья Карловна залепетала:

– Циги-циги-циги.

– Бегите! – крикнула Ида и сама бросилась из магазина.

Сбегая с подъезда, я столкнулся с Шульцем и его женою, но впопыхах мы даже не поклонились друг другу. Я видел, что Шульц дрожал.

Одна Ида Ивановна сохранила при этих ужасных обстоятельствах все присутствие духа. Она распорядилась вытребовать меня прежде Шульца нарочно,

чтобы меня, а не его и не кого-нибудь из прислуги послать за акушером.

При всех стараниях я едва только к шести часам утра мог привезть к Норкам акушера, какого-то развинченного, серого господина, который спросонья целый час сморкался и укладывал свои варварские инструменты в такой длинный замшевый мешок, что все его руки входили туда по самые плечи, как будто и их тоже следовало завязать там вместе с инструментами.

– Вы, пожалуйста, по возможности старайтесь, чтобы семейство не заметило вашей специальности, – просил я этого барина, подводя его к дому Норков.

Акушер посмотрел на меня, высморкался и свернул свой мешок несколько поаккуратнее.

Ида Ивановна встретила нас в магазине, пригласила врача-специалиста за собою, а мне сказала:

– Идите пока домой. Здесь никого не надо.

В отворенные двери магазина я видел, что бабушка уже лежала на столе.

Тяжелая полоса потянулась над бедным семейством Норков. Похороны бабушки отбывались как бы потоймя, без всякого шума и наскоро. Столбняковое состояние Софьи Карловны окончилось в минуту ее прощания с гробом матери: она разрыдалась и заговорила. Виновница всех этих бед, слабая Маня, хо-

тя и разрешилась в страшных муках мертвым, еще не сформировавшимся ребенком, но оставалась в положении самом неутешительном. Много дней кряду она провела в постоянном забытьи и без сознания; к этому присоединились другие явления, заставлявшие всех беспрестанно ждать еще худшего и опасаться то за Манину жизнь, то за се рассудок.

В доме Норков все шло тихо и уныло. Ни Софья Карловна, ни Ида Ивановна, ни madame Шульц хотя и не надели по бабушке плерезов, чтобы не пугать ими Мани, но ходили в черных платьях, значение которых Мане нетрудно было разгадать, если только эти платья когда-нибудь останавливали на себе ее внимание. Обо всем, что произошло, что, как нежданная туча, разразилось над этим семейством, никто никогда не заводил ни слова. Все избегали самомалейшего намека на то, что случилось, и жили по английской поговорке, запрещающей в доме повешенного говорить о веревке.

Но тяжелая полоса, я говорю, еще тянулась. Находясь по своим делам в Москве, этак через месяц, что ли, после описанной истории, я получил от Иды Ивановны письмо, в котором она делала мне некоторые поручения и, между прочим, писала: «Семейные несчастья наши не прекращаются; Маня в самом печальном положении: у нее развивается меланхолия с

самыми странными припадками. Как мы ни золотим себе эту новую пилюлю, которую судьба заставляет нас проглотить, но вся ее горечь все-таки снаружи. Ясно, что это просто тихое сумасшествие. Я хотела в этом удостовериться и пригласила доктора N; он сказал, что я права. Он сказал, впрочем, что положение сестры не безнадежно, но что больную следует лечить скоро и внимательно, удалив ее прежде всего от всех лиц и предметов, которые напоминают ей прошлое. Нечего делать, надо велеть молчать сердцу и брать в руки голову: я przygotowляю мать к тому, чтобы она, для Маниной же пользы, согласилась позволить мне поместить сестру в частную лечебницу доктора для больных душевными болезнями».

Еще позже, недели через две, Ида писала мне: «Мы пятый день отвезли Маню к N. Ей там прекрасно: помещение у нее удобное, уход хороший и содержание благоразумное и отвечающее ее состоянию. Доктор N надеется, что она выздоровеет очень скоро, и я тоже на это надеюсь. Я видела ее вчера; она меня узнала; долго на меня смотрела, заплакала и спросила о маменьке, а потом сказала, что ей здесь хорошо и что ей хочется быть тут одной, пока она совсем выздоровеет».

Маня долго, однако, проболела. Зима проходила, а она все еще оставалась в лечебнице. Ида Ива-

новна одна навещала сестру два раза каждую неделю и привозила о ней домой самые радостные вести. Месяца за полтора до выхода Мани из заведения я один раз провожал Иду Ивановну и видел Маню. Она была очень бледна, и эта бледность еще более увеличивалась от черной шелковой шапочки, которая была на ее обритой головке; но в общем Маня мне показалась совершенно здоровою. Ее болезненная впечатлительность действительно заметно уменьшалась. Никогда я не видал ее более спокойною, хотя Ида Ивановна рассказывала и сам я заметил, что у нее зато явился свой новый пунктик, новое *влияние*. Маня всею душою привязалась к доктору N. Насколько это чувство можно было анализировать в Мане, оно имело что-то очень много общего с отношениями некоторых молодых религиозных и несчастных в семье русских женщин к их духовным отцам; но, с другой стороны, это было что-то не то. Что-то строгое и равноправное заявлялось в каждом обращении Мани к N, но в то же время все это выражалось с безграничным доверием и теплейшей дружбой. Когда доктор N позволял себе заговорить с Манею о чем-нибудь в несколько наставительном тоне, Маня выслушивала его с глубоким вниманием и спокойствием; но тотчас же, как только он произносил последнее слово, Маня откашливалась и начинала возражать ему,

сохраняя свое всегдашнее грациозное спокойствие и тихую самостоятельность. Она писала дневник и всякий раз давала его просматривать доктору. Этот дневник и служил у них предметом разговоров, из которых выходили их временные несогласия, но которых, кроме их двух, никто никогда не слышал.

Проходило лето; доктор давно говорил Мане, что она совершенно здорова и без всякой для себя опасности может уехать домой. Маня не торопилась. Она отмалчивалась и все чего-то боялась, но, наконец, в половине сентября вдруг сама сказала сестре, что она хочет оставить больницу.

Пятнадцатого числа Ида Ивановна взяла карету и поехала за Маней. В доме давно все было приготовлено к ее приему. Ида Ивановна перешла в комнату покойной бабушки, а их бывшая комната была отдана одной Мане, чтобы ее уж ровно никто и ничем не беспокоил. Положено было не надоедать Мане никаким особенным вниманием и не стеснять ее ничьим сообществом, кроме общества тех, которых она сама пожелает видеть.

Возвратись домой, Маня немножко сплакнула, поблагодарила мать за ее любовь и внимание и тихо заключилась в свою комнатку. С тех пор сюда не входил никто, кроме Иды, которая сообщала мне иногда по секрету, что Маня до жалости грустна и все-таки по

временам тяжело задумывается.

Глава семнадцатая

В эту самую пору, с птичьим отлетом в теплые страны, из теплых стран совершенно неожиданно возвратился Роман Прокофьич Истомин. Он явился светлым, веселым, сияющим и невозмутимо спокойным. Было около девяти часов утра, когда он вошел ко мне в каком-то щегольском пиджаке и с легким саквояжем из лакированной кожи. Он обнял меня, расцеловал и попросил чаю. За чаем мы говорили обо всем, кроме Норков и загадочной дуэли. Истомин ни о тех, ни о другой не заговаривал, а я не находил удобным наводить его теперь на этот разговор. Так мы отпили чай, и Истомин, переодевшись, отправился куда-то из дома.

После обеда мы опять начали кое о чем перетолковывать.

– А что это вы ничего не расскажете о вашей дуэли? – спросил я Романа Прокофьича.

– Есть про что говорить! – отвечал он, разматывая перед зеркалом свой галстук.

– А мы тут совсем было вас похоронили, особенно Фридрих Фридрихович.

– Ему о всем забота!

– А вы у Норков не были?

– Нет, не был.

– Вы знаете, что Маня-то выздоровела?

– Выздоровела! – скажите пожалуйста! Вот слава богу. Очень рад, очень рад, что она выздоровела. Я часто о ней вспоминал. Прелестная девочка!

– Еще бы! – смело может оказать, что «я вся огонь и воздух, и предоставляю остальные стихии низшей жизни»!

– Да, да; «все остальное низшей жизни»! чудное, чудное дитя! Я бы очень желал на нее взглянуть. Переменилась она?

– Очень.

– Отцвела?

– Да, поотцвела.

– Станный народ эти женщины! – как у них это скоро. Я говорю, как они скоро отцветают-то!

Истомин прошелся раза два по комнате и продекларировал: «Да, как фарфор бренны женские особы».

– А что, как она?.. спокойна она? – спросил он, оставаясь передо мною.

– Кажется, спокойна.

– Неужто-таки совсем спокойна?

– Говорят, и мне тоже так кажется.

– Таки вот совсем, *совсем спокойна*?

Я посмотрел на Истомина с недоумением и отвечал:

– Да, совсем спокойна.

Истомин заходил по комнате еще скорее и потом стал тщательно надевать перчатки, напевая: «Гоп, мои гречаники! гоп, мои белы!»

– Ну, а чертова Идища?

– Что такое?

– Не больна, не уязвлена страстью?

– Это, – говорю, – забавный и странный вопрос, Роман Прокофьич.

– Забавно, быть может, а чтобы странно, то нет, – процедил он сквозь зубы и, уходя, снова запел: «Святой Фома, не верю я...»

Опять Истомин показался мне таким же художественным шалопаем, как в то время, когда пел, что «любить мечту не преступленье» и стрелял в карту, поставленную на голову Яна.

Он возвратился ночью часу во втором необыкновенно веселый и лег у меня на диване, потому что его квартира еще не была приведена в порядок.

– Ели вы что-нибудь? – осведомился я, глядя, как он укладывается.

– Ел, пил, гулял и жизнью наслаждался и на сей раз ничего от нее более не требую, кроме вашего гостеприимного крова и дивана, – отвечал не в меру развязно Роман Прокофьич.

«Шалопай ты был, шалопай и есть», – подумал я, засыпая.

– Сделайте милость, перемените вы эту ненавистную квартиру, – произнес за моим стулом голос Иды Ивановны, когда на другой день я сидел один-одинешенек в своей комнате.

– Я уж забыла счет, – продолжала девушка, – сколько раз я являюсь сюда к вам, и всегда по милости какого-нибудь самого скверного обстоятельства, и всегда с растрепанными чувствами.

– Что опять такое случилось?

– Истомин приехал?

– Приехал.

Ида Ивановна громко ударила ладонью по столу и проговорила:

– Я отгадала.

– Что же, – спрашиваю, – далее?

– Маня не в себе.

– Худо ей?

– Да я не знаю, худо это или хорошо, только они виделись.

– Разве был у вас Истомин?

– Тогда бы он был не Истомин. Он не был у нас, но Мане, должно быть, было что-нибудь передано, сказано или уж я не знаю, что такое, но только она вчера первый раз спросила про ту картину, которую он подарил ей; вытирала ее, переставляла с места на место и потом целый послеобед ходила по зале, а ночь

не спала и теперь вот что: подайте ей Истомина! Сегодня встала, плачет, дрожит, становится на колени, говорит: «Я не вытерплю, я опять с ума сойду». Скажите, бога ради, что мне с нею делать? Ввести его к нам... при матери и при Фрице... ведь это – невозможно, невозможно.

Решили на том, что я переговорю с Истоминным и постараюсь узнать, каковы будут на этот счет его намерения.

– Знаете что, – говорила мне, прощаясь у двери, Ида, – первый раз в жизни я начинаю человека ненавидеть! Я бы очень, очень хотела сказать этому гению, что он... самый вредный человек, какого я знаю.

– И будет случай, что я ему это скажу, – добавила она, откинув собственной рукою дверную задвижку.

– Маня Норк очень хочет повидаться с вами, – передал я без обиняков за обедом Истомину.

– А! – это с ее стороны очень мило, только, к несчастью, неудобно, а то бы я и сам рад ее видеть.

– Отчего же, – говорю, – неудобно? Пойдемте к ним вечером.

Истомин ел и ничего не ответил.

– Вы не пойдете? – спросил я его, собираясь сумерками к Норкам.

– Нет, не пойду, не пойду, – ответил он торопливо и сухо.

– Напрасно, – говорю.

– Мой милый друг! не тратьте лучше слов *напрасно*.

– Надо вас послушаться, – ответил ему я и пошел к

Норкам, размышляя, что за чушь такую я делал, приглашая с собою Истомина сегодня же.

Ида Ивановна выслушала мой рапорт и пошла к Мане, а прощаясь, сунула мне записочку для передачи Роману Прокофьевичу и сказала:

– Если он этого не сделает, это уж будет просто бесчеловечно! Маня просит его униженно, и если он не пойдет, – я не знаю, что он тогда такое. Приходите завтра вместе в пять часов – наших никого не будет, потому что *татап*³⁵ поедет с Шульцами в Коломну.

Я вручил Истомину Манину записку. Он прочел ее и подал мне. «Милый! – писала Маня, – я не огорчу тебя никаким словом, приди только ко мне на одну минутку».

– Да; она очень хочет вас видеть, и завтра вечером у них, кроме Иды Ивановны, никого не будет дома, – сказал я, возвращая Истомину Манину записку.

Он взял у меня клочок, мелко изорвал его и ничего не ответил.

На другой день, ровно в пять часов вечера, Истомин вошел ко мне в пальто и шляпе.

– Пойдемте! – сказал он с скверным выражением

³⁵ Маменька (франц.)

в голосе, и лицо у него было злое, надменное, решительное и тревожное.

Я встал, оделся, и мы вышли.

– Вы уверены, что, «кроме девушек», у них никого нет дома? – спросил он меня, лениво сходя за мною с лестницы.

– Я в этом уверен, – отвечал я и снова повторил ему слова Иды Ивановны.

Истомин позеленел и спрятал руку за борт своего пальто. Мне казалось, что, несмотря на теплый вечер, ему холодно, и он дрожит.

Молча, не сказав друг другу ни слова, дошли мы до квартиры Норков и позвонили.

– Смотрите, может быть старуха дома? – проговорил за моим плечом каким-то упавшим голосом Истомин.

Я ничего не успел ему ответить, потому что нас встретила Ида Ивановна.

Истомин поклонился ей молча, она тоже ответила ему одним поклоном.

– Подождите, – сказала она, введя нас в залу, и сама вышла.

Истомин подошел было к окну, но тотчас же снова отошел в глубь комнаты и сел, облокотясь на фортепиано.

Тревожно и с замиранием сердца я ждал момента этого странного свидания.

Минуты через две в залу возвратилась Ида Ивановна.

– Потрудитесь идти за мною, – сказала она Истомину.

Он встал и смело пошел через спальню Софьи Карловны в комнату Мани.

Ида Ивановна пропустила его вперед и, взяв меня за руку, пошла следом за Романом Прокофьевичем.

Идучи за Идой Ивановной, я чувствовал, что ее рука, которою она держала мою руку, была совершенно холодна. Я посмотрел ей в глаза – они были спокойны, но как бы ждали откуда-то неминуемой беды и были на страже.

Истомин подошел к двери Маниной комнаты и остановился. Дверь была отворена и позволяла видеть всю внутренность покоя. Комната была в своем обыкновенном порядке: все было в ней безукоризненно чисто, и заходящее солнце тепло освещало ее сквозь опущенные белые шторы. Маня, в белом пеньюаре, с очень коротко остриженными волосами на голове, сидела на своей постели и смотрела себе на руки.

– Сестра! – тихо позвала ее Ида Ивановна.

Маня тихо подняла голову, прищурила свои глазки, взвизгнула и, не касаясь ногами пола, перелетела с кровати на грудь Истомина.

В это же мгновение Истомин резко оттолкнул ее и,

прыгнув на середину комнаты, тревожно оглянулся на дверь.

Отброшенная Маня держалась за голову и с каждым дыханием порывалась с места к Истомину.

– Не отгоняй меня! не отгоняй! – вскрикнула она голосом, который обрывался на каждом слове, и с протянутыми вперед руками снова бросилась к художнику.

Истомин одним прыжком очутился на окошке, открыл раму и выскочил на железную крышу кухонного крыльца.

В руке его я заметил щегольскую оленью ручку дорогого охотничьего ножа, который обыкновенно висел у него над постелью. Чуть только кровельные листы загремели под ногами художника, мимо окон пролетело большое полено и, ударившись о стену, завертелось на камнях.

Я выглянул в окно и увидел на кухонном крыльце Вермана. Истомина уж не было и помину. Соваж стоял с взъерошенными волосами, и в левой руке у него было другое полено.

– Я, это я, – говорил Соваж, потрясая поленом.

Маня тихо и молча перебирала ручками свои короткие волосы.

Я решительно не помню, что после было и как я вышел. Я опомнился за воротами, столкнувшись ли-

цом к лицу с Верманом. Соваж стоял на улице в одних панталонах и толстой серпинковой рубашке и страшно дымил гадчайшей сигарой.

– Герман! зачем вы это сделали? – спросил я его в сильном волнении.

– Да! – отвечал Соваж, – да!.. бревном сакрамент... мерзавца... О, я его здесь подожду! я долго подожду с этой самой орудия!

Герман кивнул головою назад и позволил мне разглядеть лежавшее у него за пятками полено.

– Друг мой, это бесполезно.

– Я не друг ваш! – отвечал сердито Верман, – помните! Я не друг того, у кого друг такой портной.

– Какой портной, Верман?

– Какой? какой портной? Какой без узла шьет – вот какой. Нет; ты, каналья, с узлом нитка шей! да, с узлом, с узлом, черт тебя съешь с твоей шляпой и с палкой!

Соваж вдруг поднял над головой лежавшее у него за каблуками полено и, заскрипев зубами, как-то не проговорил, а *прогавкал*:

– Портной без узла! я тебя... в столб вобью!

Полено треснулось с этими словами о тумбу, и одно и другая одновременно раскололись.

Соваж стоял и ерошил свои волосы над разбитою тумбою. На улице не было ни души.

Я долго смотрел на безмолвного Германа, — и представьте себе, о чем размышлял я? Маня, вся только что разыгравшаяся сцена, все это улетело из моей головы, а я с непостижимейшим спокойствием вспомнил о том коренастом, малорослом германском дикаре, который в венском музее стоит перед долговязым римлянином, и мне становилось понятно, как этот коренастый дикарь мог побить и выгнать рослого, в шлем и латы закованного потомка Германика и Агриппины.

Это непостижимо, каким это образом в такие страшные, критические минуты вдруг иной раз вздумается о том, о чем бы, кажется, нет никакой стати и думать в подобные минуты.

Глава восемнадцатая

Возвратясь домой, я не пошел к Истомину. Было ясно, из-за чего он разыграл всю эту гадкую историю: ему вообразилось, что его женят на Мане, и все это свидание счел за подготовительную сцену – за засаду. Досадно было, зачем же он шел на это свидание? чего же он хотел, чего еще добивался от Мани?

В одиннадцатом часу утра на другой день ко мне является Шульц – бледный и оскорбленный.

– Здравствуйте, – говорит, – и одевайтесь – пойдете к Истомину.

– И что, – спрашиваю, – будет?

– Будет? – дуэль будет. Я убью его.

– Или он вас.

– Или он меня.

– Зачем же вам я-то?

– Я хочу иметь свидетеля при этом разговоре.

Мы вошли к Истомину; он лежал на диване, закинув руки за затылок и уложив ногу на ногу. При нашем приходе он прищурил глаза, но не приподнялся и не сказал ни слова.

– Господин Истомин! – начал сухо Шульц. – Я много ошибся в вас...

– Сделайте милость, со всем этим к черту! – вскрик-

нул, сорвавшись с дивана, Истомин. – Я терпеть не могу присутствовать при составлении обо мне критических приговоров. Мне все равно, что обо мне думают.

– Да, это очень может быть; говорят, что в России есть такие люди, которым все равно, что о них думают, но я во всяком случае уверен, что вы честный человек, господин Истомин.

– А мне доставляет большое удовольствие заметить вам, что вы еще раз ошибаетесь: я нечестный человек, господин Шульц.

Шульц немного сконфузился и спросил:

– Отчего?

Истомин рассмеялся; он встал на ноги и, заложив руки в карманы, отвечал:

– Оттого, господин Шульц, что несколько раз хотел быть как следует честным человеком, и мне это никогда не удавалось, – теперь охоты более к этому не имею. Еще оттого, господин Шульц, что не стоит быть честным человеком, и, наконец, оттого, господин Шульц, что быть честным человеком значит или быть дураком, или походить на вас, а я не хочу ни того, ни другого.

– Я, господин Истомин, хочу не замечать ваших невежливостей... – Шульц поперхнулся, сдавил рукою горло и добавил: – Я удивляюсь только, господин

Истомин, как вы можете быть так покойны.

– Значит, вы не большой мудрец, господин Шульц; большие мудрецы ничему не удивлялись.

– Может быть... Простите, пожалуйста; я не для разговоров к вам пришел... у меня горло сдавливает, господин Истомин.

– Ага! Сдавливает – это хорошо, что сдавливает; я слышал, что с приближением к полюсам все собаки всегда перестают лаять!

Шульц так и подпрыгнул.

– Лаять! – вскрикнул он. – Лаять! Я лаю, господин Истомин; я лаю, да, я молчком не кусаюсь, да-с; я верная собака, господин Истомин; я не кусаюсь. Один человек на свете, которого я захотел загрызть, – это вы. Я вызываю вас на дуэль, господин Истомин.

– Сделайте милость! мне давно хочется убить кого-нибудь, и я очень рад, что это будет такой почтенный человек, как вы. Позвольте, вот одно короткое распоряжение только сделаю.

Истомин подошел к столу и написал:

«Я застрелился оттого, что мне надоело жить».

Он подал эту записку мне и сказал, не глядя мне в глаза:

– Это про всякий случай, если я подвернусь под негоциантскую пулю.

С этим вместе Истомин достал из стола пару писто-

летов и подал их оба на выбор Шульцу.

– Извольте, я могу стреляться без секунданта, а моя квартира, надеюсь, гораздо безопаснее парголовского леса.

Лицо у Истомина было злое и кровожадное.

– Я так не могу, – отвечал Шульц. – У меня жена, дети и состояние: мои распоряжения нельзя сделать в одну минуту. Будемте стреляться послезавтра за Коломягами.

– Извольте, я могу подождать. Ян! подай пальто господину Шульцу, – крикнул громко Истомин и снова повалился на диван и уткнулся лицом в подушку.

Дуэли, однако, не было – ее не допустила Ида Ивановна.

Глава девятнадцатая

– Господин Истомин! – сказала Ида, входя к нему вечером в тот же день, когда произошло это объяснение. – Я уверена, что вы меня не выгоните и не оскорбите.

Истомин вскочил с дивана, вежливо поклонился ей и подал стул.

– Вы, взамен того, можете быть спокойны, что я пришла к вам не с объяснениями. Никакие объяснения не нужны.

– Благодарю вас, – отвечал Истомин.

– Прошедшему нет ни суда, ни порицания. Если это была любовь – она не нуждается в прощении; если это было увлечение – то... пусть и этому простит бог, давший вам такую натуру. Вот вам моя рука, Истомин, в знак полного прощения вам всего от всей нашей семьи и... *от ней самой.*

Истомин взял и с жаром поцеловал протянутую ему руку Иды.

Девушка тихо высвободила свою руку и отошла к окну.

– Ида Ивановна! – сказал, подходя ближе к ней, Истомин. – Столько презрения к себе, сколько чувствую я, поверьте, не испытывал ни один человек.

– Радуюсь, узнавая, что вы способны осуждать себя.

Истомин остановился.

– Ида Ивановна, неужто вы в самом деле меня простили!

– Monsieur³⁶ Истомин, если я сказала, что я пришла к вам не за тем, чтобы вызывать вас на объяснения, то я и не за тем пришла, чтобы шутить с вами для своего удовольствия, – отвечала спокойно Ида. – Если вы в этом сомневаетесь, то я бы желала знать, что такое именно вы считаете непростительным из ваших поступков?

– Мое гадкое охлаждение к вашей сестре, которая меня любила!

Ида пожала плечами и сказала:

– Ну, к несчастью, не всякий человек умеет не охлаждаться. Вы виноваты в другом: в вашем недостойном вчерашнем подозрении; но не будем лучше говорить об этом. Я пришла не за тем, чтобы вынести от вас в моем сердце вражду, а я тоже человек и... не трогайте этого лучше.

– Я все готов сделать, чтобы заслужить ваше прощение.

– Все?.. а что это такое, например, вы можете сделать *все*, чтобы *заслужить* прощение в таком поступ-

³⁶ Господин (франц.)

ке? – спросила она, слегка покраснев, Истомина.

– Я знаю, что мой поступок заслуживает презрения.

– Да! вечного презрения!

– Да, презрения, презрения; но... я могу иметь, наконец, добрые намерения...

– Добрые намерения! Может быть. Добрыми намерениями, говорят, весь ад вымощен. Истомин промолчал.

– Вы можете получить прощение как милостыню, а не заслужить его!.. Видите, я говорила вам, чтоб вы меня не трогали.

– Говорите все; казните как хотите.

– Это все равно, – продолжала, сдвигая строго брови, Ида. – Мы вас простили; а ваша казнь?.. она придет сама, когда вы вспомните вчерашнюю проделку. – Мой боже! так оскорбить женщину, которая вас так любила, и после жить! Нет; сделавши такое дело, я, женщина, я б не жила пяти минут на свете.

Истомин сильно терзался.

– Простите, не упрекайте вы меня: я хоть сейчас готов на ней жениться, – говорил он, ломая руки.

– Какая честь высокая! – сказала, презрительно кусая губы, Ида. – Да вы спросите лучше: какая женщина за вас пошла бы? Конечно, дур и всяких низких женщин много есть на свете; но как же Маню-то вы смеее равнять со всякой дрянью?.. Вы слушайте, Ис-

томин! вы знаете, что я теперь бешусь, и я вам, может быть, скажу такое, что я вовсе не хотела вам сказать и чего вы, верно, давно не слыхивали... Вы должны были сберечь мою сестру от увлечений; да, сберечь, сестра *любила* вас; она за вас не собиралась *замуж*, а так *любила*, сама не зная почему; вы увлекли ее... Бог знает для чего, на что? и теперь...

– И теперь она меня не любит больше? – произнес с оскорблением и испугом Истомин.

– Гм! час от часа не легче... Какой вы жалкий человек, monsieur Истомин! Утешу вас: нет, *любит*. Радуйтесь и торжествуйте – *любит*. Но вы... Вот отгадайте-ка, что я хочу вам досказать?

– Что я любви не стою? это, верно?

– Совсем не то; к несчастью, женщинам перебирать-то много нечем, monsieur Истомин! Нет, верно, стоите, пожалуй. Когда бы не было в вас ничего, что на несчастье женщины ей может нравиться при нынешнем безлюдье, так вас бы этак не любили?! но вы... да вы сами подумайте, разве вы можете кого-нибудь любить? У вас была худая мать, Истомин, худая мать; она дурно вас воспитала, дурно, дурно воспитала! – докончила Ида, и, чего бы, кажется, никак нельзя было от нее ожидать, она с этим словом вдруг сердито стукнула концом своего белого пальца в красивый лоб Романа Прокофьяча.

Художник не пошевелился.

– Вы правы; вы бесконечно правы, – шептал он потерянно, – но поверьте... это все не так... вы судите по жалобам одним...

– Оставьте! перестаньте, monsieur Истомин, говорить такие вздоры! Какие жалобы? Кто слышал эти жалобы от порядочной женщины? Куда? кому может честная женщина жаловаться за оскорбление ее чувства?.. Для этих жалоб земля еще слишком тверда, а небо слишком высоко.

Вышла минутная пауза. Ида покачала головой и, как будто что-то вспомнив, заговорила:

– А вас любили в самом деле, и еще как преданно как жарко вас любили! Не Маня, может быть, одна, а и другие, серьезнее и опытнее Мани женщины в своем приятном заблуждении вас принимали за человека, с которым женщине приятно было б идти об руку...

Ида Ивановна на минуту остановилась; Истомин смотрел на нее, весь дрожа, млея и волнуясь.

– Но этого не может быть! – прошептал он после новой паузы, отодвигаясь со страхом на шаг далее от Иды.

– Чего?

– Того, что вы сказали.

– Отчего? – продолжала, спокойно глядя, девушка.

– Нет, этого не может быть!

Девушка опять долго, без устали смотрела в лицо художнику, и, наконец, она его поняла и побледнела. В эту же терцию белый червячок шевельнулся у нее над верхней губою.

– Что делают из человека его дурные страсти! – начала она, покачав головою. – И это вам не стыдно подумать то, что вы подумали? О боже мой! простая девушка, которая ни разу никому не объяснялась в чувствах, которая и говорить-то об них не умеет, и без всякого труда, без всякого особого старания, в какое она вас ставит теперь положение? Что вы даете мне читать по вашему лицу? Я такой страшной надписи никогда не читывала. Неужто вы подумали, что женщина, которая любила вас, окромя Мани, – я?.. И вы бы, Истомин, хотели этого? Возвысьтесь хоть раз до правды перед женщиной: ведь это правда?.. так?.. вы б этого хотели?

Истомин не знал, что говорить и думать.

– Боже! боже!.. ну, так уж далеко моя фантазия не уходила! – продолжала, не выдержав, Ида. – Польщу вам лишнею победою, и вы со всею вашей силой, со всем своим талантом громким, как пудель, ляжете вот здесь к моим ногам и поползете, куда вам прикажу!.. И все из-за чего? из-за того, чтобы взойти в пафос, потоки громких фраз пустить на сцену и обмануть еще одну своим минутным увлечением... да?

– Не понимаю, зачем нам говорить о том, чего не будет?

– О да! о да! мне кажется, что этого не будет; вы это верно угадали, – подхватила с полной достоинства улыбкой Ида. – А ведь смотрите: я даже не красавица, Истомин, и что из вас я сделала?.. Смешно подумать, право, что я, я, Ида Норк, теперь для вас, должно быть, первая красавица на свете? что я сильней всех этих умниц и красавиц, которые сделали вас таким, как вы теперь... обезоруженным, несчастным человеком, рабом своих страстей.

– Спасибо вам за эти горькие слова! Я не забуду их, – покорно отвечал художник, протягивая девушке с благодарностью обе руки.

Ида ему не подала ни одной своей руки и проговорила:

– Я не хотела вас учить: вы сами напросились на урок. Запомните его; бог знает, может быть еще и пригодится.

– Ида Ивановна! честью клянусь вам, меня первый раз в жизни так унижает женщина, и если бы эта женщина не была вы, я бы не снес этих оскорблений.

– Гм!.. Что же такое, однако, я для вас в самом деле? – проговорила она, сдвигая брови и поднимая голову.

Ида изменила позу и сказала, вздохнув:

– Ну, однако, довольно, monsieur Истомин, этой комедии. Унижений перед собой я не желаю видеть никаких, а ваших всего менее; взволнована же я, вероятно, не менее вас. В двадцать четыре года выслушать, что я от вас выслушала, да еще так внезапно, и потом в ту пору, когда семейная рана пахнет горячей кровью, согласитесь, этого нельзя перенести без волнения. Я запишу этот день в моей библии; заметьте и вы его на том, что у вас есть заветного.

Лицо Иды вдруг выразило глубокое негодование; она сделала один шаг ближе к Истомину и, глядя ему прямо в лицо, заговорила:

– Забыто все! и мать моя, и бабушка, и Маня, и наш позор семейный – все позабыто! Все *молодость*, – передразнила она его с презрением. – По-вашему, на все гадости молодость право имеет. Ах вы, этаким молодой палач! Что мать моя?.. что ее за жизнь теперь?.. Ведь вы в наш тихий дом взошли, как волк в овчарню, вы наш палач! Вы молоды, здоровы и думаете, что старость – это уж... дрова гнилые, сор, такая дрянь, которая и сожаления даже уж не стоит?.. Какая почтенная у вас натура? Скажите мне... Вам никогда не говорила ваша мать, что тот проклят, чья молодость положит лишнюю морщину на лбу у старости? Нет – не сказала?.. Говорите же, ведь не сказала? О да! пускай ее за это господь простит, но я... я, женщи-

на, и я скорее вас прощу, а ей... хотела бы простить, да не могу: столько добра нет в моем сердце.

Ида сложила на груди руки, быстро села в стоявшее возле нее кресло, посмотрела минуту в окно и, снова взглянув в лицо Истомину, продолжала:

– Не знаю, да, клянусь вам, истинно не знаю, кого могли вы увлекать когда-нибудь? Детей, подобных Мане, или таких, которых нечего и увлекать... а я!.. Да, впрочем, ведь за что ж бы для меня вам сделать исключенье? Ну да! скорее, скорее теперь, Истомин, на колени! Вы будете прекрасны, я не устою перед этим, и мы двойным, нигде, мне кажется, еще неслыханным стыдом покроем нашу семью. Старуха выдержит: она молиться будет и снесет; не то не выдержит – стара, туда ей и дорога... Ну, что ж вы стали? – руку! давайте руку на позор!

Истомин молча прятал глаза в темный угол; на лбу его были крупные капли пота, и волосы спутались, точно его кто-то растрепал.

– Вам поздно думать о любви, – начала, медленно приподнимаясь с кресла, Ида... – Мы вас простили, но за вами, как Авелева тень за Каином, пойдет повсюду тень моей сестры. Каждый цветок, которым она невинно радовалась; птичка, за которой она при вас следила по небу глазами, само небо, под которым мы ее лелеяли для того, чтобы вы отняли ее у нас, – все

это за нее заступится.

Истомин все слушал, все не двигался и не издавал ни звука.

– Я вам сказала минуту назад, что женщинам, к несчастью, перебирать-то много нечем, а ведь любить... кому же с живою душою не хотелось любить. Но, monsieur Истомин, есть женщины, для которых лучше отказаться от малейшей крупички счастья, чем связать себя с нулем, да еще... с нулем, нарисованным в квадрате. Я одна из таких женщин.

Истомин сверкнул глазами и тотчас же усмирел снова. Но Ида тем же самым тоном продолжала:

– Молитесь лучше, чтобы вашей матери прощен был тяжкий грех, что вам она не вбила вон туда, в тот лоб и в сердце хоть пару добрых правил, что не внушила вам, что женщина не игрушка; и вот за то теперь, когда вам тридцать лет, – вам девушка читает наставления! А вы еще ее благодарите, что вас она, как мальчика, бранит и учит! и вы не смеете в лицо глядеть ей, и самому себе теперь вы гадки и противны.

– Больней, больней меня казните, бога ради!

– Ах, как это противно, если бы вы знали! Вы, бога ради, бросьте все эти фразы и эту вовсе мне не нужную покорность, – отозвалась нетерпеливо Ида. – Какая казнь! На что она кому-нибудь?.. Я к вам пришла

совсем за другим делом, а не казнить вас: ответьте мне, если можете, искренно: жаль вам мою сестру или нет?

– Вы знаете вперед, что я вам отвечу.

– Нет, не знаю. Я вас спрашиваю поистине, искренно. Я еще таких слов от вас не слыхала.

– Жаль.

– И способны вы хоть что-нибудь принести ей в жертву?

– Все! мой боже! все, что вы прикажете!

– Ни жизни и ни чести я у вас не попрошу. Садитесь и пишите, что я вам буду говорить.

Это было сказано тихо, но с такою неотразимой внушительностью, с какою разве могло соперничать только одно приказание королевы Маргариты, когда она велела встреченному лесному бродяге беречь своего королевского сына.

Таких приказаний нельзя не слушаться без разбора, дает ли их мещанка или королева и, дабы властительная способность отдавать такие приказания не сделалась банальной, природа отмечает ею мещанок с неменьшею строгостию, чем королев.

Истомин подошел к столу и взял перо.

Ида стояла у него за стулом и глядела через плечо в бумагу.

– Пишите, – начала она твердо: – «Милостивый го-

сударь Фридрих Фридрихович!»

– Это к Шульцу? – спросил Истомин, как смиренный ребенок, пораженный величиною урока, спрашивает: «это всю страницу выучить?»

– «Милостивый государь Фридрих Фридрихович!» – продолжала Ида.

Художник написал.

Девушка продолжала далее:

– «Я искренно раскаиваюсь во всем, что дало вам повод вызвать меня на дуэль. Я считаю себя перед вами виноватым и прошу у вас прощения...»

Истомин остановился и, не поднимая головы, закусил зубами перо.

– И прошу у вас прощения, – повторила, постояв с секунду, Ида.

– *И прошу у вас прощения!* – выговорила она еще настойчивее и слегка толкнув Истомина концами пальцев в плечо.

Художник вздохнул и четко написал: «прошу у вас прощения».

– «И даю мое честное слово, – продолжала, стоя в том же положении, девушка, – что мое присутствие более не нарушит спокойствия того лица, за которое вы благородно потребовали меня к ответу: я завтра же уезжаю из Петербурга, и надолго».

– Позвольте мне последнее слово заменить дру-

гим?

– Каким?

– Я желаю написать: «навсегда».

– Напишите, – сказала, подумав, Ида, и когда Истомин подписал, как принято, свое письмо, она тихо засыпала золотистым песком исписанный листок, тщательно согнула его ногтем и положила под корсаж своего строгого платья.

– Проводите меня до двери – я боюсь вашей собаки.

Истомин ударил ногою своего водолаза и пошел немного сзади Иды.

– Прощайте, – сказала она ему у двери.

Он ей молча поклонился.

– Послушайте! – позвала Ида снова, когда Истомин только что повернул за нею ключ и еще не успел отойти от двери.

Художник отпер.

– В несчастии трудно владеть собою и быть справедливым: я много сегодня сказала вам, – начала, сдвинув брови, Ида. – Я недовольна этим; я вас обидела более, чем имела права.

Истомин опять отвечал молчаливым поклоном.

– Да, – заключила девушка. – Я это чувствую, и я вернулась сказать вам, что и вас мне тоже жаль искренно.

Ида протянула Истомину руку.

– Прощайте, – добавила она тихо, ответив на его пожатие, и снова вышла за двери.

Роман Прокофьевич сдержал обещание, данное Иде: он уехал на другой же день, оставив все свои дела в совершенном беспорядке. Недели через три я получил от него вежливое письмо с просьбою выслать ему некоторые его вещи в Тифлис, а остальное продать и с квартирою распорядиться по моему усмотрению.

В своем письме Истомин, между прочими строками делового характера, лаконически извещал, что намерен изучать природу Кавказа, а там, может быть, проедет посмотреть на берега Сырдарьи.

Глава двадцатая

Прошел год, другой – о Романе Прокофьевиче не было ни слуха ни духа. Ни о самом о нем не приходило никаких известий, ни работ его не показывалось в свете, и великие ожидания, которые он когда-то посеял, рухнули и забылись, как забылись многие большие ожидания, рано возбужденные и рано убитые многими подобными ему людьми. Норки жили по-прежнему; Шульц тоже. Он очень долго носился с извинительной запиской Истомина и даже держался слегка дуэлистом, но, наконец, и это надоело, и это забылось.

Маня Норк жила совсем невидная и неслышная; но черная тоска не переставала грызть ее. Места, стены, люди – все, видимо, тяготило ее. Пользуясь своей безграничной свободой в доме, она часто уходила ко мне и просиживала у меня целые дни, часто не сказав мне ни одного слова. Иногда, впрочем, мы беседовали, даже варили себе шоколад и даже смеивались, но никогда не говорили о прошлом. Чего ждала она и чего ей сколько-нибудь хотелось от жизни – она никогда не высказывала. Раз только помню, когда в каком-то разговоре я спросил ее, какая доля, по ее мнению, самая лучшая, она отвечала, что доля пушкинской Татьяны.

– А почему? – спросил я.

– Да потому, что для бедной Тани все были жребии равны, – отвечала Маничка.

Так это все и жилось тихо. Во все это время нас тревожило немножко только одно газетное известие о какой-то битве русских с черкесами в ущельях Дарьяла. Романическая была история! Писали, какая была ночь, как вечер быстро сменился тьмою, как осторожно наши шли обрывом взорванной скалы, как сшиблись в свалке и крикнул женский голос в толпе чеченцев; что на этот голос из-за наших рядов вынесся находившийся в экспедиции художник И... что он рубил своих за бусурманку, с которой был знаком и считался кунаком ее брату, и что храбрейший офицер, какой-то N или Z ему в лицо стрелял в упор и если не убил его, так как пистолет случайно был лишь с холостым зарядом, то, верно, ослепил. «Изменник обнял девушку и вместе с ней скатился в бездну», – было написано в газете.

Все мы были уверены, что это деяния Истомина, и тщательно скрывали это от Мани. Так это, наконец, и прошло. Маня по-прежнему жила очень тихо и словно ни о чем не заботилась; словно она все свое совершила и теперь ей все равно; и вдруг, так месяца за полтора перед Лондонской всемирной выставкой, она совершенно неожиданно говорит мне:

– А знаете, я с Фридрихом Фридриховичем поеду за границу.

Смотрю, и в самом деле у Норков идут сборы – снаряжают Маню за границу.

– Чего это едет Маня? – спросил я раз Иду.

– А отчего ж, – отвечает, – ей и не ехать?

Старуха-мать ходит с заплаканными глазами, но тоже собирает Маню бодро.

– А вы, – спрашиваю Маню, – как едете: радуетесь или нет?

– Мне все равно, – ответила Маня спокойно и равнодушно.

Ида знала пружины, выдвигавшие Маню из России за границу, но молчала как рыба, и только когда Маня села в вагон, а Фридрих Фридрихович с дорожной сумкою через плечо целовал руку плачущей старухи Норк, Ида Ивановна посмотрела на него долгим, внимательным взглядом и, закусив губы, с злостью постучала кулаком по своей ладони.

Через три месяца Шульц писал из одного маленького шверинского городка, что Маня выходит замуж за одного машинного фабриканта родом из Сарепты, но имеющего в местечке Плау свою наследственную фабрику. Маня тоже писала об этом матери и сестре и просила у старухи благословения.

– Вот наш милый Фрицынька какие штучки устра-

ивает! – сказала с иронией Ида, сообщив мне известие о Манином замужестве. – Смысл семейное пятно с громкого имени Норков.

– Вы, Ида Ивановна, против этого замужества?

– Я не против чего; но, помилуйте, что ж это может быть за замужество, да еще для такой восторженной и чуткой женщины, как Маня? И представьте себе, что когда он только заговаривал, чтобы повезть ее *по-развлечья*, я тогда очень хорошо предвидела и знала все, чем это окончится.

– Чего ж вы ей об этом не сказали?

– Я говорила ей – она ответила: «мне все равно» – и только.

– Дай бог одно теперь, – сказал я, – чтоб это по крайней мере было что-нибудь похожее на человека.

– На ангела, на ангела, а не на человека! – перебила Ида. – Человека мало, чтобы спасти ее. Ангел! Ангел! – продолжала она, качая головою, – слети же в самом деле раз еще на землю; вселися в душу мужа, с которым связана жена, достойная любви, без сил любить его любовью, и покажи, что может сделать этот бедный человек, когда в его душе живут не демоны страстей, а ты, святой посланник неба?

Фридрих Шульц возвратился совсем отцом и покровителем. Маня, по его мнению, была пристроена прекрасно, и сама она два или три раза писала мне и Иде

Ивановне, что ей хорошо. «Одно только, – добавляла она в последнем письме, – тяжкие бывают минуты тоски, хочется куда-то бежать, куда-то броситься и все представляется, будто я еще сделаю что-то ужасное».

В семье Норков так все чего-то и ожидали: ни Ида матери, ни мать Иде не говорили друг другу ни про какие опасения; но стоило только кому-нибудь при них невзначай произнести слово «новость», как обе эти женщины бледнели и окаменевали.

Софья Карловна старелась не по дням, а по часам и даже часто совсем теряла память.

Глава двадцать первая

Переносимся на короткое время далеко в Германию, в Северный Шверин.

Маленькое местечко Плау, расположенное при небольшом Плауском озерце, в нескольких верстах от Доберана, все на праздничной ноге. Из высокой дымовой трубы на фабрике изобретателя качающихся паровых цилиндров, доктора Альбана, уже третий день не вылетает ни одной струи дыма; пронзительный фабричный свисток не раздается на покрытых снегом полях; на дворе сумерки; густая серая луна из-за горы поднимается тускло; деревья индевеют. Везде тихо-тихонько, только в полумраке на синем льду озера катается на коньках несколько прозябших мальчиков; на улице играют и вертятся на спинах две собаки; но Плау не спит и не скучает; в окошках его чистеньких красных домиков везде горят веселые огоньки и суетливо бегают мелкие тени; несколько теней чешутся перед маленькими гамбургскими зеркальцами; две тени шнуруют на себе корсеты, одна даже пудрит себе шею. Все это прекрасно видно с улицы, на которой играют две собаки, но собаки не обращают на это никакого внимания и продолжают вертеться на мягком снежку. Сегодня вечером все Плау намере-

но танцевать у преемника Альбана, доктора Риперта. Каждый год доктор Риперт дает своим соседям очень веселый вечер на третий день Рождества Христова, и у него в этот день обыкновенно бывает все Плау; но нынче дело не ограничится одними плаузцами. Нынче у Риперта будет на вечере Бер – человек, который целый век сидит дома, сам делает сбрую для своих лошадей, ложится спать в девять часов непременно и, к довершению всех своих чудачеств, женился на русской, которая, однако, заболела, захирела и, говорят, непременно скоро умрет с тоски. Это очень романическая пара: одни говорят, что Бер увез свою жену; другие рассказывают, что он купил ее. Где же купить? Помилуйте, где же в наш век в Европе продаются на рынках женщины? Этак говорили скептики, но как скептиков даже и в Германии меньше, чем легковверных, то легковверные их перекричали и решили на том, что «а вот же купил!» Но это уж были старые споры; теперь говорилось только о том, что эта жена умирает у Бера, в его волчьей норе, и что он, наконец, решился вывезти ее, дать ей вздохнуть другим воздухом, показать ее людям. По правде сказать, все Плау таки уж давно скандализировано тем, что Бер никому не покажет своей жены. Многие считали это сначала просто пренебрежением и успокоились только, когда распространился слух, что Бер сектант,

гернгутер, пуританин и даже ханжа, но тем интереснее, что этот пуританин сегодня явится в обществе, да еще вдобавок с своей русскою женою. А что они сегодня явятся, в этом не было никакого сомнения, потому что madame Риперт сама объявила об этом дочерям кузнеца Шмидта и столяра Тишлера и советовала им приодеться. Весь вопрос теперь мог заключаться только в том, будет ли сектант Бер играть в карты и позволит ли он танцевать своей жене. Все, впрочем, довольно единогласно решали, что играть в карты он, может быть, и станет, но танцевать своей жене уж наверно не позволит.

– Я, мама, ни за что не пошла бы замуж за гернгутера, – говорила матери одна из дочерей Тишлера.

– И я тоже, – подкрепила другая.

С этими словами они вошли на высокое каменное крыльцо фабриканта.

То же самое говорили через несколько минут, всходя на это крыльцо, дочери Шмидта.

Сам Риперт, встречая гостей в углу своей залы и подавая им толстую руку с огромным перстнем на большом пальце, тоже выразился кому-то о гернгутере очень неблагоприятно.

Тем не менее, конечно, при каждом шуме в сенях все с любопытством взглядывали на двери.

Исчужа можно было предполагать, что сюда на этот

вечер ожидают прибытия Кармакдойля или Рауля-Синей бороды.

Наконец они приехали. Это была поистине очень торжественная минута. Они приехали на каких-то оригинальных санях, запряженных парой очень хороших лошадей, но без кучера. За ними прибежала огромная лохматая собака, которую Бер назвал Рапу и велел ей лечь в сани. Собака в ту же секунду вспрыгнула в сани, свернулась кольцом и легла на указанное ей место. Бер вынул из кармана шубы тонкий ремешок и собственноручно привязал своих лошадей к столбу. Конюх Риперта предложил было Беру свои услуги поберечь его лошадей, но тот коротко отвечал: «не надо». Все, которым после захотелось поближе полюбоваться заиндевевшей парой прекрасных коней Бера, согласились, что беречь их действительно было *не надо*. Каждому человеку, подходившему к лошадям ближе пяти шагов, Рапу давал самый энергический знак удалиться. Покрытый морозною пылью, лохматый пес был так же немногоречив, как его хозяин; он не рычал при приближении человека, а молча вскакивал во весь свой рост в санях, становился передними лапами на край и выжидал первого движения подходившего, чтобы броситься ему на грудь и перекусить горло.

Слесарный подмастерье, который, бывши один раз

в Лейпциге, купил себе там на ярмарке иллюстрированный экземпляр «Парижских тайн» и знал эту книгу как свои пять пальцев, уверял, что точно такая собака была у Дагобера.

– Может быть, это она и есть? – заподозрил Рипертов конюх.

– Я много не прозакладую, что это не она, – отвечал слесарный ученик.

Все дышало какой-то таинственностью около самой странного гостя: словно все это прилетело из какого-то другого мира. Лошади сильные, крепкие как львы, вороные и все покрытые серебряною пылью инея, насевшего на их потную шерсть, стоят тихо, как вкопанные; только седые, заиндевевшие гривы их топорщатся на морозе, и из ноздрей у них вылетают четыре дымные трубы, широко расходящиеся и исчезающие высоко в тихом, морозном воздухе; сани с непомерно высоким передним щитком похожи на адскую колесницу; страшный пес напоминает Цербера: когда он встает, луна бросает на него тень так странно, что у него вдруг являются три головы: одна смотрит на поле, с которого приехали все эти странные существа, другая на лошадей, а третья – на тех, кто на нее смотрит.

– Я бы, однако, дал довольно дорого, чтобы посмотреть на самого этого гостя, – проговорил слесарный

ученик, который, впрочем, потому и был так щедр, что никому не мог ничего дать.

– Это можно сделать очень просто, – отвечал бескорыстный конюх, – ты становись мне на плечи, смотри в окно и хорошенько мне все рассказывай.

Они так и сделали: конюх стал опершись руками в стену, а слесарный ученик взмогнулся ему на плечи, но мороз очень густо разрисовал окна своими узорами, и слесарный ученик увидел на стеклах только одни седые полосы, расходящиеся рогами.

– Я тебе скажу, – говорил с конюховых плеч слесарный ученик, – что я вижу что-то странное: я вижу как будто огонь и какие-то ледяные рога...

И он не договорил, что он видел, еще более потому, что в это время стоявшего против дверей конюха кто-то ужасно сильно толкнул кулаком в брюхо и откинул его от стены на целую сажень. Слесарный ученик отлетел еще далее и вдобавок чрезвычайно несчастливо воткнулся головой в кучу снега, которую он сам же и собрал, чтобы слепить здесь белого великана, у которого в пустой голове будет гореть фонарь, когда станут расходиться по домам гости.

Все эти обстоятельства чрезвычайно странно вязались с какой-то святочной чертовщиной, потому что, когда слесарный ученик и конюх встали, у них у обоих звенело в ушах и они оба были поражены самым

неожиданным зрелищем: по белому, ярко освещенному луною полю действительно несся черт. Он скакал на той самой паре серебряных лошадей, извергавших из ноздрей целые клубы дыма; у самого черта лежало что-то белое на коленях, а сзади его, трепля во всю мочь лохматыми ушами, неслась Дагоберова собака. И когда этот адский поезд быстро выехал в мелкий перелесок, что начинался тотчас за полем, то и черт и собака разом закричали что-то невероятно страшное. На этом расстоянии и слесарному ученику и конюху стало видно, что пар, которым дышали лошади, более не поднимался вверх расходящимися трубами, а ложился коням на спины и у них на спинах выросли громадные крылья, на которых они черт их знает куда и делись, вместе с санями, собакой и хозяином.

– Я никогда в жизнь мою не ожидала такого скандала, – говорила, возвращаясь домой, кузнечиха Шмидт столярихе Тишлер.

– И я тоже, – отвечала Тишлер.

Старшая девица Шмидт хотела было блеснуть образованностью и выговорила «et moi aussi»,³⁷ но мать ее тотчас остановила и сказала:

– Я полагаю, что ты еще, слава богу, не русская барышня, чтобы не уметь говорить на своем языке.

Местечко было до того взволновано этим событи-

³⁷ И я тоже (франц.).

ем, что несколько человек тотчас же отправились к старому кузнецу Шмидту, разбудили его и заставили ударить три раза молотом по пустой наковальне, и только тогда успокоились, когда он это исполнил, так как известно, что эти три удара совершенно прочно заклепывают цепь сорвавшегося черта северо-германских прибрежий.

А вот в чем в самом деле состояло происшествие: все это наделала русская барышня.

Madame Шмидт так рассказывала дома эту историю мужнину молотобойцу, которому она имела привычку приносить ужин в особую каморку, когда уже все ее честное семейство засыпало или мнилось заснувшим.

– Они вошли, – говорила madame Шмидт. – Он такой, как этот черт, который нарисован в Кельне. Ты, может быть, не видал его, но это все равно: он маленький, голова огромная, но волосы все вверх. Я полагаю, что он непременно должен есть сырое мясо, потому что у него глаза совершенно красные, как у пьяного француза. Фи, я терпеть не могу французов.

Молотобоец сделал «гм!» так, как будто он в этом сомневался, и залил свое сомнение новою кружкой пива.

– А Роберт Вейс, который должен был играть на фортепиано, ушел к советнику... и он был пьян к тому

же. Да! я и забыла тебе сказать, что с ним приехала его жена. Она из России. Она очень недурна, но я думаю, что она глупа, и после я в этом еще более убедилась. У нее, во-первых, нет роста; она совершенно карманная женщина. Я думаю, это вовсе не должно нравиться мужчинам. Хотя у мужчин бывают очень дикие вкусы, но большой рост все-таки очень важное дело.

Madame Шмидт была очень большого роста.

Молотобоец опять только промычал: «гм!»

– Да; я уверена, что это не может нравиться, – продолжала madame Шмидт. – Это, конечно, строго сообщая, не ее вина, и я ее за это строго не осуждаю, но все-таки такая женщина не может действовать на человека.

Молотобоец опять промычал: «гм!»

– Да все это еще простительно, если смотреть на вещи снисходительным глазом: она ведь могла быть богата, а Бер, говорят, слишком жаден и сам своих лошадей кормит. Я этому верю, потому что на свете есть всякие скареды. Но Вейса не было, а он должен был играть на фортепиано. Позвали этого русского Ивана, что лепит формы, и тут-то началась потеха. Ты знаешь, как он страшен? Он ведь очень страшен, ну и потому ему надели на глаза зеленый зонтик. Все равно он так распорядился, что ему глаза теперь почти не

нужны.

– Не нужны, – произнес молотобоец.

– Он сел за фортепиано с зонтиком. Но он ужасно сбивал всех с такта. Я никогда не слыхала, чтобы хотя один музыкант играл так дурно. Это, конечно, очень понятно, потому что у него почти все равно что нет глаз, но девицы были этим очень недовольны, все молодые люди хотели его выслать... Штром сказал: «Я дам один пять талеров тому, кто нам сыграет хорошо хоть два вальса». А она... нужно тебе сказать, что она не танцевала, она села за фортепиано и сыграла пять вальсов. Я не могу сказать, чтобы она играла хуже madame Риперт. Но ты себе представь, что она за это сделала! Ей, конечно, никто не смел заплатить пять талеров; но она сама взяла его шляпу и пошла у всех собирать для него деньги! Со мною, разумеется, не было ничего, ни одного зильбергроша, потому что я шла ведь, надеюсь, в семейный дом, а не на складчину. Но мужчины наклали ей очень много денег. Ее муж положил десять талеров, а Риперт, ты знаешь, какой он пустой человек: он из тщеславия положил двенадцать. Это, я говорю, не правда ли, так очень бы хорошо играть, за такую цену? Это и ты бы, я думаю, рад был играть, если бы умел.

– Да, если б умел, – отвечал молотобоец.

– Вот тут зато и вышла целая история. Да, я ужасно

жалела, что я взяла туда с собою моих дочерей. Тут он снял свой зонтик; она закричала: «ах!», он закричал: «ах!», он затрясся и задрожал; она упала, а этот ее зверь, этот проклятый гернгутер-то, взял ее в охапку, выбежал с нею на двор и уехал. Каково, я тебя спрашиваю, это перенести madame Риперт? Согласен ли ты, что ведь это можно назвать происшествием?

Молотобоец отвечал, что он с этим согласен.

Madame Риперт это действительно не могло понравиться, тем более что через три дня после этого она имела удовольствие прочитать всю эту историю в игривом фельетоне трехгрошовой доберанской газеты. Да и скажите, пожалуйста, что здесь такого, что могло бы понравиться-то уважающей себя женщине?

Вот другое бы дело, если бы в доберанской газете напечатали другую историю, которая случилась гораздо после; но про эту историю доберанская газета решительно не могла узнать ничего, потому что история эта разыгралась в очень темном яру и с такою скромностью, с которою обыкновенно совершаются действительно любопытные истории. В этом узком темном яру, заваленном тучами белого снега, стояло странное красное здание: это были две круглые красные башни, соединенные узким корпусом, внизу которого помещались кузня и точильня, а сверху жилие в пять высоких готических окон. Здание это в Плау

называли «норою Бера».

У этого странного здания, в темном яру, куда никогда не западал бледный луч месяца, остановилась пара посребренных лошадей, ускакавших в третий день рождества из Плау.

Из саней тогда вышел тот же приземистый Кармакдойль и вынес на руках молодую женщину, которую он всю дорогу согревал в своей шубе. Он внес ее в длинную комнату, занимавшую половину коридора, который соединял две башни, свистнул своей собаке, повернул в дверях ключ и вышел.

В этом, конечно, нет еще никакой истории. История началась собственно на другой день или на другую ночь, а разыгралась еще гораздо позже.

На следующую ночь в левой башне, под которой приходилась конюшня, где стояла пара лошадей, изумлявших своею силой и крепостью плаузского Рипертова конюшего, в круглой красной комнате горел яркий-преяркий огонь. Этот огонь пылал в простом кирпичном камине, куда сразу была завалена целая куча колючего сухого вереска.

Перед камином, в углу, на старом кресле, обитом зеленым сафьяном, помещался Бер, одетый в толстые лосиные штаны и желтую стеганую нанковую куртку. У ног его, на шкуре дикой козы, лежал, протянув морду к камину, Рапу.

Если бы я искал случая *подражать*, в чем меня так любезно упрекают добрые друзья мои, то я мог бы списать здесь целую картину у Вальтер Скотта, и она пришлась бы сюда как нельзя более кстати. На дворе была морозная ночь; полная луна ярко светила на поле и серебрила окраины яра, но не заходила в ущелье, где было бы темно, совсем как в преисподней, если бы из кузнечного горна, перед которым правили насеки, не сыпались красные искры да не падал красный пук света из окна хозяйской круглой комнаты. В дальнем углу оврага выли в переключку два волка, вторя друг другу раздирающим унисоном.

Бер сидел в своей комнате один, с своей лохматой собакой. Каминный огонь прихотливо озарял его круглую нору. Это была комната в башне, увешанная кругом машинными ремнями, конскими хомутами, тяжелыми насеками, буравами и винтовыми досками. В одном завороте у камина стоял тяжелый токарный станок с подвижным патроном, в другом – железная кровать хозяина, покрытая верблюжьим войлоком. Против нее помещался старинный комод с львиными лапами вместо ручек. На стене висели два двустольные ружья, а между ними огромное черное распятие. Более здесь не было никакой мебели и никаких украшений.

Роберт Бер сидел здесь, не выходя никуда с самого

утра. Правда, он вышел на минуту перед вечером, но только для того, чтобы велеть принести себе новую кучу вереска, но тотчас же возвратился сюда снова, сел против камина и с тех пор уже не вставал с этого места. Он даже не зашел сегодня к своим лошадям, чем он не манкировал ни один день в жизни.

Теперь он сидел тихо, как человек, одержавший победу над внутренним врагом своим и довольный своею силою. Перед ним лежала большая книга, развернутая на странице, на которой широкою красною чертою была подчеркнута строка: *«Иневосхоте обличити ю, новосхоте тай пустите ю»*.

Роберт Бер был очень расстроен: окружающие его заметили это потому, что он был необыкновенно тих и бездействовал, тогда как обыкновенно у него в крови всегда бегала ртуть и руки его постоянно искали работы.

Ровно в одиннадцать часов в толстую дубовую дверь круглой комнаты раздались три легкие удара. Услыхав этот стук, Бер вскочил с своего кресла, сжал руки у сердца и, пошевелив беззвучно устами перед распятием, произнес: «войдите», и снова опустился на прежнее место.

Из темного пространства, открытого повернувшеюся на широких петлях дубовую дверь, тихо вступила белая женская фигура.

Бер не шевелился и не поднимал кверху опущенной головы; уста его продолжали тихо двигаться, а глаза смотрели на сложенные на коленях руки.

Женщина подошла к самому креслу Бера, сбросила с головы белую шерстяную косынку, которою была покрыта, и, опершись локтем на карниз камина, проговорила:

– Я пришла в тот час, когда вы хотели.

Эта женщина была Мария Норк.

– Да, – отвечал Бер, – да, я хотел этого, Мария: нам надо поговорить с тобой.

– Я вас слушаю.

– Ты сядь, разговор может выйти немного продолжителен.

Он подвинул ей ногою простой деревянный табурет и опять сказал:

– Сядь! сядь!

Она села. Вышла очень продолжительная пауза. Положение молодой женщины становилось невыносимым: она была слаба, волновалась ожиданиями предстоящего тяжелого объяснения, и ее томил не освобождающий ее ни на минуту пронизательный взгляд мужа.

Наконец Бер положил конец этой сцене. Он переложил левую ногу на правую и проговорил:

– Итак, Мария...

Женщина вскинула голову и, заметя новую склонность Бера к паузам, спокойно сказала:

– Я вас слушаю.

– Вы... его любите?

– Нет.

Бер подумал и произнес тихо:

– Будем откровенны.

– Я вам отвечала откровенно, – подтвердила Маня.

Бер остановился и стоял, то широко раскрывая веки, то быстро захлопывая их и затем снова раскрывая.

Маня молчала, собирая рукою под подбородком свои разбежавшиеся пепельные волосы.

– Вы, однако, любили его? – пробурчал Бер.

– Он сделал все, чтобы убить мою любовь к себе.

– Как?

Маня задумалась, покраснела и, глядя в огонь, добавила:

– Если ему удалось унижить меня один раз – я не хочу увеличивать мое унижение рассказом, как я его понимаю. Вам не нужно этого. Я не знаю, чего вы от меня хотите? Теперь глухая ночь; здесь все вам преданы, начиная от этой собаки, которая готова загрызть меня, если вы ей это прикажете; отойдя кругом на пять миль нет человеческого жилья; зима, мороз, в овраге волки воют; вы – все говорят, вы страшный человек; никто еще ни жалости и ни улыбки не видывал на вашем

лице ужасном; и вы меня силою позвали на допрос!.. Вы здесь меня хотите пытаться? Пытать меня будете? Пытайте.

Маня сделала два шага к мужу и прошептала:

– Я не боюсь вас!

– Вы слышали? – повторила она громко, – *я не боюсь вас*. Поймите вы, что тем, кому, как мне, жизнь – бремя, тем смерть есть высшее блаженство.

– Вам в тягость жизнь?

– Да; она давно, давно мне в тягость.

– Вам скучно здесь?

– Везде равно мне скучно.

– Вы ненавидите меня?

– Я не люблю вас.

– Не ненавидите, однако?

– Не ненавижу, потому что я не умею ненавидеть.

Я не люблю вас; мне с вами тяжело. Я думаю, и этого довольно, чтоб для меня всю цену потеряла жизнь.

– А если б бог вам дал теперь другую жизнь?

– Я б не взяла ее.

– Зачем?

– Затем, что для меня жить снова невозможно.

– Я верю вам, Мария; и я бы тоже не взял.

Бер снова опустил голову и снова задумался.

– Прощайте, – проговорила тихо, вставая, Маня.

– Нет, пару слов еще.

Маня снова безропотно села.

– Так жить нельзя, – произнес Бер.

– Живу, как бог судил мне, – отвечала, нервно подергиваясь, Маня.

– Да, как бог судил... Нет, бог так не судил, Мария.

Бог не судил нам жить с тобой.

Бер взял жену сильно за руку и еще раз добавил:

– Бог не судил.

Маня спокойно смотрела на мужа.

– Но богом суждена для всех одна дорога: то путь к добру, Мария. Нет положения, в котором человек не нашел бы средства быть полезным людям и помириться с собою.

Бер приподнялся и сказал:

– Мария! жить одному – это... несносно тяжело!

– Да, это тяжело.

– А жить вдвоем, и врознь желать, и порознь думать, и вечно тяготить друг друга, и понимать все это – еще тяжеле.

– Еще тяжеле.

– Да, еще тяжеле. Один в постелю ляжет, поплачет в изголовье, в своем углу он перемучит горе свое, помолится, когда душа молитвы хочет, и станет выше, чище – приблизится страданьем к богу.

– Да.

– Союз хорош, когда одна душа святит собой дру-

гую.

– Что ж вы хотите?

– Ты не раба моя. Я дал обет тебя сберечь, и я хочу его исполнить. Расстанемся.

Маня молча, изумленными глазами смотрела на мужа.

– С тобою в провозатые я не пошлю своих упреков. Я виноват во всем. Я думал, если я соединю в одном гнезде два горя, два духа, у которых общего так мало с миром, как у меня и у тебя, то наконец они поймут друг друга. Я, сирота седой, хотел ожить, глядясь в твои глаза, Мария, и как урод обезобразил зеркало своим лицом. Не ожил я, и ты завяла. Ты хочешь умереть, а я хочу тебе дать жизнь. Хотела бы ты жить с ним? с тем... кого любила?

– Нет, – спокойно отвечала Маня.

– Скажи еще! скажи еще мне это слово!

– Я не хочу с ним жить, – твердо повторила Маня.

– О, не ходи! о, не ходи к нему!

Бер тихо взял ее за руку и, показывая другую через окно вдаль, заговорил:

– Там, за этой норой, Мария, целый мир, прекрасный, вечно юный; там – поля, леса, там реки свежие, моря и люди, там божий мир: я весь его тебе открою. Кто ошибается любя, тот всех способней с любовью ж поправлять сам ошибки. Пусть мертвые хоронят сво-

их мертвецов, но ты жива, и жива душа моя, чтобы оставить тебя. Тебе не за что умереть. Великая тоска в душе живой должна создать великие решения. Мария! посмотри, одна ли ты несчастлива! Есть много женщин, которым, как тебе, не посчастливилось у очага, и они не изнывали духом, они себе у бога не просили смерти и не пошли путем лукавым. Они создали себе место в жизни; создали его себе у каждого очага, где вечером тихо горит обрубок дерева, перед которым садится мать с детьми. Да, Мария, когда семейство садится у этого камина и мать, читая добрую книгу детям, ведет их детскую фантазию по девственным лесам, через моря, через горы, к тем жалким дикарям, которые не знают ни милосердия, ни правды, тогда над ярким огоньком вверху, — я это сам видал в былые годы, — тогда является детям старушка, в фланелевом капоте, с портфеликом у пояса и с суковатой палочкой в руке. Она кивает беленьким чепцом оттудова ребенка; он улыбается, глядит ей в добрые глаза и засыпает, слушая ее рассказы. И в этот час, когда такое множество людей найти не могут во сне покоя, невинное дитя спит сладким сном и в этом сне еще все улыбается ей, доброй бабушке, старушке Иде Пфейфер. Иди за ней, иди, моя Мария! Тебе со мной тоска. Изломанную жизнь клеить напрасно. Тоска, как цепкая трава, перерастает дерево, вокруг которого она завьется.

Иди, у ног твоих прошу тебя, иди! – Бер стал перед женою на колени и добавил: – Она, старушка Пфейфер, зовет тебя себе на смену; она тебе пример и подкрепление. Не отдавай напрасно жизнь тоске и возврати талант серебра, который дал тебе создатель.

– А ты? – спросила тихо Мария.

– Ты говоришь мне *ты*. Благодарю тебя.

Бер поднялся с колен и продолжал:

– Я... я, как жил встарь, опять по-прежнему я буду жить в моей норе и буду счастлив.

Он сморгнул слезу и добавил:

– Поверь, мне будет хорошо; да, хорошо. Блаженнейшим покоем полна будет моя душа, когда я вспомню о тебе. Тогда я стану здесь, вот здесь, перед крестом, вздохну... быть может, и заплачу, но тогда я буду муж, Мария. Я буду гордый муж, муж силы, муж, который не сгубил, а спас тебя и поднял. Мария! – продолжал Бер, складывая у подбородка кисти своих рук. – Чтобы соблюсти душу твою, я должен потерять ее для себя: иначе нет спасения. Вперед, мой друг! Вперед, моя Мария! Тоска... мечтания бесплодные... конец, конец всему! На бой, на жизнь! Иди, иди, молю тебя, моя Мария!

Маня тихо подала обе свои прозрачные ручки мужу, положила ему на грудь свою голову и прошептала:

– Иду! Благослови меня, мой Роберт!

Бер взял ее руки и молча подвел ее к окну: луна совсем садилась; синее небо подергивалось легкой предрассветною пеленою, и на горизонте одиноко мерцала одна утренняя звезда.

– Она одна, – произнес с чувством Бер, – и мы с тобою будем одиноки. Всегда вот в этот час, когда она одна становится на небе, я стану на нее смотреть и думать о тебе; проснись и ты тогда и тоже погляди, и трое одиноких будем вместе.

– Мы будем вместе, – прошептала Маня.

– И будем чисты, как она.

– Да, да, мы будем чисты.

– О да, мы будем чисты; мы счастливы и всегда, вспоминая друг друга, будем смотреть вверх. Душа! несись, лети отсюда туда и встреться там с сияющей душой моей Марии! – проговорил он в молитвенном созерцании и тотчас же добавил: – Теперь иди, засни, господь с тобою, моя малютка!

Он проводил жену с свечою до двери, потом вернулся и простоял у окна, пока утренняя звезда совершенно исчезла в зареве рассвета.

Глава двадцать вторая

Весной распускались сирени, в полях пробивалась травка; очистилось море от льда, и тихо у пристани колыхался большой пароход, готовый назавтра отчалить далеко.

В нижнем этаже Беровой башни, как раз под той комнатой, где происходила последняя сцена, в такой же точно по размерам, но в совершенно иной по убранству комнате, густые сумерки застают двух человек. Молодая женщина, одетая в серой фланелевой блузе, сидит в старинном кресле спиной к открытому окну, в которое лезут густые ветки сирени. Голова этой женщины покоится на слабой беленькой ручке, опирающейся локтем о стол и поддерживающей ладонью подбородок; большие голубые глаза ее устремлены в угол, где в густой темноте помещается мужская фигура, несколько согбенная и опустившаяся. Мужчина сидит в кресле с опущенной головой и руками, схваченными у себя на коленях.

Это Маня и Истомин, которого Бер привез сегодня, чтобы он мог проститься завтра с Маней.

Самого хозяина здесь не было: он с кривым ножом в руках стоял над грушевым прививком, в углу своего сада, и с такой пристальностью смотрел на солнце,

что у него беспрестанно моргали его красные глаза и беспрестанно на них набегали слезы. Губы его шептали молитву, читанную тоже в саду. «Отче! – шептал он. – Не о всем мире молю, но о ней, которую ты дал мне, молю тебя: спаси ее во имя твое!»

В комнате была тишина невозмутимая.

«И это он!» – думала Маня, глядя на человека, которого она некогда так страстно любила. Он сам, тот чудный человек, который блистал такую гордой смелостью и вызывал ее младенческую душу на подвиг Анны Денман. Как это было? И перед нею Петербург, ее совершеннолетие, и бабушка с своею канарейкой, и Верман с домиком, и Ида... Воспоминания обрываются при этом дорогим имени, и вдруг выступает какая-то действительность, но такая смутная, точно едешь в крытом возке по скрипучему перевозимку, – и кажется, что едешь, и кажется, что и не едешь, а будто как живешь какой-то сладкой забытой жизнью; и все жужжит, жужжит по снегу гладкий полоз под ушами, и все и взад и вперед дергается разом – и память и дорога.

Имя Иды, как толчок, как пень заезженный, как придорожная могила, толкнуло на минуту Маню, и снова поползли пред ней воспоминанья. Ей вспомнилось, как снилась ей тогда всю ночь до утра Анна Денман, и эта Анна Денман была сама она; а он был Джоном

Флаксоманом. Иль просто он был – он, а она – она, и они шли вместе. *Она* была *нужна* ему. О, сколько было в этом счастья! О, как ей хотелось жить, как все светло ей светилося в будущем. Они пришли в деревню; был вечер тихий; собака лаяла; им дали угол на сеновале: он спит, она его лелеет... Потом ей видится Италия, Неаполь, Рим и Палестина – она везде ему нужна, она ему подруга; у ней нет для себя желаний, она вся жертва, и это жизнь ее – та жизнь, какой она хотела. И, наконец, уж он велик и говорит ей: «Ты, Анна Денман, ты была нужна мне; ты была моей силой; у нас теперь есть дом, и в палисадник окна, и с нами будет мать твоя, и бабушка, и Ида...» И вновь толчок: проснулась бабушка, и встала с кресла, и пошла, и прокляла ее... Все это ничего: проклятьям бог не внимлет. Тяжелый сон опять; сад в доме сумасшедших; душа больна, и над всем преобладает одно желание – спрятаться, бежать куда-то, а из кустов ей все кивает кто-то и говорит ей: «Здравствуй! здравствуй!» Опять жужжат полозья; и вдруг дребезжит разбитое окно; стук, треск, хаос кругом, и снова Ида. И все идет, идет какое-то все ближе уяснение, и, наконец, разражается огненной молоньей и гремит небесной грозю. Все стало ясно... Так вот на что! «*Так вот на что была нужна я!*» – восклицает Маня, и переднею прямо они *завтра*. *Завтра*— это день, которому довлеет

его мир и его злоба. *Он* – это кумир, поверженный и втоптаный судьбою в болото. Но с восходом на восток этого *завтра* ему никто уж не подаст руки и не поможет. Маня задумалась и заплакала и сквозь застилавшие взгляд ее слезы увидела, что среди комнаты, на сером фоне сумеречного света, как братья обнялись и как враги боролись два ангела: один с кудрями светлыми и легкими, как горный лен, другой – с липом, напоминающим египетских красавиц. Они боролись долго, и светлый ангел одолел.

Маня встала и подошла к Истомину.

– Не думайте, что вы виноваты так, как вам сказала Ида, и это я прошу вас сделать в память обо мне. Да, я прошу вас: в память обо мне.

Проговорив эти слова, Маня подала руку художнику; он сжал ее.

– Мы поднимались на ходули; мы в самом деле ниже, чем мы думали.

Истомин выронил молча ее руку.

«О, – думал он, – как ты растешь! как ты растешь, моя одинокая Денман!»

Маня продолжала:

– Мы упали. Не будем плакать и простим друг другу все прошлое перед разлукой.

Истомин не удержался и зарыдал.

– Нет, нет! Не надо слез – не надо их, не надо. Мир

прошлому. Я еду с миром в сердце, не возмущайте тишины, которая теперь в душе моей. Не думайте, что вы несчастливей других: здесь все несчастны, и вы, и я, и он ... Он, может быть, несчастней всех, и он всех меньше нас достоин своего несчастья.

Маня нежно положила ручку на плечо Истомина и сказала с болью:

– Он все свое горе от меня спрятал; не дайте ж никому превзойти вас в последнем великодушии ко мне!

Слепой художник утих.

– Я хотела вам сказать слово «мир» – это все, что я могу сделать. Он разгадал это и привез вас. Благодарю, что вы приехали. Теперь все кончено.

Маня коснулась своей рукою головы Истомина и проговорила:

– Забвенье прошлому; моей душе покой... а вам... моя слеза и вечное благословение.

Маня сама тихо заплакала, прислонясь к стене своей головкой.

– Аминь, – произнес, стоя в саду и глядя внутрь комнаты в окно, гернгутер.

– Аминь, аминь, – повторили в одно и то же время Маня и художник.

Серое утро, взошедшее за этой ночью, осветило несшуюся по дороге от норы Бера рессорную таратайку, запряженную парюю знакомых нам вороных ко-

ней. Лошадьми, по обыкновению, правил Бер; рядом с ним сидела его жена; сзади их, на особом сиденье, помещался художник.

Они ехали быстро и в седьмом часу утра остановились у пристани, где величаво качался собравшийся в далекую экспедицию паровой корабль.

– Накрапывает дождь – путь добрый будет, – проговорил, высаживая жену, молчавший всю дорогу Бер.

– О чем же мы с тобой попросим один другого перед разлукой? – спросил Бер, держа в своих руках женины руки.

Маня молча взглянула на Истомина. Бер ответил ей крепким пожатием.

– А когда пройдут... многие, многие годы... – заговорил он и остановился.

– Тогда я возвращусь к тебе, – договорила Маня.

– Чтоб мой старый слух мог упиваться гармонией твоих бесед про беспредельный мир, который ты увидишь.

– Про мир души моей, который ты создал, – закончила, становясь ногою на трап, Маня.

Через полчаса дымящийся пароход, качаясь, отчаливал от берега, и на его палубе стояла Маня. Она была в вчерашнем сером платье, в широкой шляпе и с лакированной сумкой на груди.

На берегу стояли Бер и рядом с ним Истомин.

– Завидую, и в первый раз завидую в жизни, Мария, – заговорил, глядя на жену, Бер. – Перед тобою раскроется широкий океан чудес, и как ласточка глотает на лету муху, проглотит он твою кручину.

Маня в ответ молча перекрестила мужа.

Тяжелые колеса парохода заколотили, вода запенилась задрожали трубы, и пароход пошел скорым ходом в море.

Не сводя глаз с жены, Бер показал ей рукою по направлению, где пред зарей стоит утренняя звезда; туда же поднялась и снова опустилась окутанная тяжелым, серым рукавом слабая ручка Мани.

Пароход скрылся на горизонте.

– Садитесь, – пригласил Истомина Бер, подбирая свои вожжи.

Художник махнул рукой.

– На вас лежит ее благословенье, и я хочу, чтобы оно принесло покой вам.

Истомин сел молча, как автомат, и они поехали, не говоря во всю дорогу друг другу ни слова.

Они уже долго ехали. Утро оставалось такое же сырое и тихое; воздух не согревался; по серому небу не ползло ни облачка; все серело, как опрокинутая миска, и только с севера на юг как будто тянулся какой-то крошечный обрывок мокрой бечевки; не было это облако, не была это и бечевка.

Истомин сидел, закрывши глаза и сложив на груди руки; Бер молча правил лошадьми и заставлял себя спокойно следить за тем, что там ползло по небу снурочком.

Истомин был в тупом состоянии деревянного покая. У несчастья есть свое милосердие; как кредитор, чтобы верней получить по документу долг, оно дает душе передышку. Человек сам этой передышки себе ни за что не сумел бы устроить. И такая льгота дается нам только при большом горе, при несчастьи, так сказать, вдосталь дошибающем человека. Известно, что многие из людей, приговоренных к смерти, в последнюю ночь перед казнью останавливались воспоминанием на каком-нибудь мелком, самом незначительном случае своей юности; забывали за этим воспоминанием ожидавшую их плаху и как бы усыпали, не закрывая глаз. Некоторые из них сами рассказывали, что они в это время видели лучшие сны. Умный и весьма наблюдательный священник, которому печальная обязанность поручает последние дни осужденных на смерть, говорил пишущему эти строки, что ему никогда не случалось видеть осужденного в таком настроении, о каком Виктор Гюго так неловко рассказывает в своем «*Dernier jour d'un condamné*».³⁸ Бывает в большинстве случаев гораздо проще. В большинстве слу-

³⁸ «Последний день приговоренного к смерти» (франц.).

чаев, если несчастный не находится под влиянием горячего раскаяния, возвышающего человека до игнорирования ожидающей его завтра смерти, и если он в таком настроении не молится и не плачет, то чаще всего он впадает в какое-то мечтательное забытие. Он забудется и мечтает: мечтает совершенно нехотя, произвольно. В этом забытии вдруг, совершенно внезапно, врывается в мозг искра сознания действительности, и человек вскакивает, трепеща как осиновый лист. В эту минуту он, вероятно, всадил бы себе в бок нож с стоическим спокойствием Катона или разбил бы себе голову об угол мрачной амбразуры входа; но гром цепей, ночная лампа и неподвижный часовой довершают пробуждение, и завтрашний мертвец тяжело опускается, иногда стонет и снова забывается. Одному из таких несчастных постоянно грезилась мать: она подходила к нему, развязывала ворот у его рубашки и, крестя его лицо, шептала: «Христос с тобой, усни спокойно; а завтра...» Осужденный ни одного раза не мог дослушать, что обещала ему мать «завтра». Это роковое слово будило его, и он, стоная, повторял: «Ох, куда деться?.. куда деваться?» – и забывался снова, и снова мать выходила к нему из черной стены каземата.

Есть что-то непостижимое в этой, так сказать, физиологии безвозвратного отчаяния.

В интересной, но надоедающей книжке «Последние дни самоубийц» есть рассказ про одну девушку, которая, решившись отравиться с отчаяния от измены покинувшего ее любовника, поднесла уже к губам чашку с ядом, как вдруг вспомнила, что, грустя и тоскуя, она уже более десяти ночей не ложилась в постель. В это мгновение она почувствовала, что ей страшно хочется спать. Она тщательно спрятала чашку с ядом, легла, выспалась и, встав наутро, с свежей головой записала все это в свой дневник и затем отравилась.

Трудно было предсказать, что разбудит теперь Истомина из того забытья, в которое впал он. Из всей окружающей его действительности он только сознает одно, что он едет; но кто он такой, и куда, и зачем он едет – это ему совершенно непонятно. Что это за местность, какой это день и какая пора дня? – тоже не уясняется. Но вот наконец-то... теперь все это ясно: это летние сумерки в степях за Окою. Две косматые лошадки, меньше похожие на лошадей, чем на вылинявших медвежаток, частят нековаными ногами по мягкой грунтовой дорожке. Мужичок, с желтой мычкой на подбородке и в разноцветном зипунишке, сидит и трясется на грядке, на которой бы воробью сидеть впору. Ему скучно. И вот он метится, метится во что-то волжанковым кнутовищем. Увидев такие при-

целы, из-под рогожной кибитки, покрытой седою дорожною пылью, на четвереньках выползает черненький мальчик; он тихо, затаив дыхание, подвигается к переднему вязку телеги. Волжанковая палочка все надходит над свою цель: эта цель – зеленоголовый слепень, – он блаженствует, сидя у перекрестных ремней шлеи, и вниз от этого места по шерсти лохматой лошади сочатся кровавые капли. Но щелкнула волжанка, слепень кувырнулся и в то же мгновенье упал, покатысь, под телегу. Ребенок выкрикнул от радости, обнял ручонкой загорелую шею соседа-охотника и поцеловал его в его желтую мычку.

Засмеялся мужик, и еще кто-то назади засмеялся в кибитке. Смех это или не смех? Что-то как будто не смех или смех вместе с кашлем.

У, да как же хорошо-то кругом, – то есть что ж тут, по правде говоря, и хорошего-то? Ничего очень хорошего, да так легко, и ото всего, от чего вы хотите, веет этой тихою радостью русской картины. Вон на пыльной дороге ряды перекрестных колеи от тележных колес; по высокому рубежу куда-то спешит голубок и, беспрестанно путаясь ножками в травке, идет поневоле развалистым шагом: он тащит в клюве ветку и высоко закидывает головку, чтоб перекинуть свою ношу через высокие стебли; на вспаханном поле свищет овражек и, свистнув, тотчас же нырнет, а потом опять

выскочит, сядет и утирается бархатной лапкой. Солнце садится за лесом, луга закрываются на ночь фатой из тумана; зеленые сосны чернеют, а там где-нибудь замелькают кресты, и встает за горой городочек, покрытый соломой, – вот ты и вся здесь, родная картинка, а тепло на душе каждый раз, когда про тебя вспомнится.

Полно и крепко забилося в мятежной груди Истомина его русское сердце. Еще чутче становится он к давно минувшему. Не только мысленное око его не знает преград, его ухо тоже слышит бог весть когда и где раздавшиеся звуки.

– А вот это видишь, – говорит ему из-под пыльной кибитки слабый женский голос, перебиваемый удушливым кашлем, – гляди вон туда, вон высоко, высоко под небом – это летят журавли.

– На ночлег поспешают, – досказывает мужичок с желтой мычкой.

Сколько рассказов начинается об этих журавлях! И какие все хорошие рассказы! век бы их слушал, если бы только опять их точно так же рассказывали. Речь идет про порядки, какие ведут эти птицы, про путину, которую каждый год они держат, про суд, которым судят преступивших законы журавлиного стада. Все это так живо, веселей, чем у Брема. Как памятны все впечатления первой попытки вздохнуть одним дыханием

с природой.

Впечатление это вспоминается необыкновенно редко, случайно, без всякой стати, как вспоминается иногда вещь, давно-давно забытая на грязном столе почтовой станции глухого, пустынного тракта.

Стрелюю, пущенною с тугой тетивы, несетя в памяти в погоню за этой порою другая пора: пора сладкой юности, годы тревог и страстей. И недвижно стоит только один какой-то день; один из множества дней стоит он, как звезда, уснувшая на зените. Стоит он долго – ничто его не сдвигает, ничто не трогает с места. Это и есть тот день, от которого в виду смерти станешь спрашивать: «Куда деться? куда деваться?» Этот день бел, как освещенное солнцем сжатое поле, на котором нет ни жнецов, ни птиц, уносящих колосья; на котором не слышно ни детского плача, ни жалоб клянущей жизнь плоти, ни шелеста травы, ни стреко-та букашек – все мертво и тихо, как в опаленной долине Иерихона, и над всем этим безмолвием шагает, не касаясь ногами земли, один ужасный призрак. Этот призрак изменчив, как хамелеон, – это женщина, появляющаяся то с головой, остриженной, как у цезарского рекрута, то с лакированной сумочкой на груди. Но и она исчезает, и в ту минуту, когда она уже исчезла, когда не стало ее, художник вернулся к действительности. Он сделал этот переход с такою быстро-

тою, что его трудно определить словом. Как быстро упал с поднебесья внезапный крик пролетающей журавлиной стаи, так быстро, услышав этот крик, Истомин выпрыгнул из таратайки, стал на ноги и, прижав к груди руки, затрясся от внутреннего зноба.

Он не видал этих птиц, когда они подлетали, тянувшись по небу шнурочков; один Бер видел, как этот шнурок все подвигался в треугольник, состоящий из отдельных точек, расположенных как камни, обозначающие могилу араба, похороненного среди песчаной Сахары, и когда с неба неожиданно упало это резкое, заунывное турчанье, оно для Истомина было без сравнения страшнее слова матери, которое нарушало покой ночи осужденного на смерть.

«Ага! летят уж Ивиковы журавли... да, да, пора конец положить», – подумал Истомин, стоя с открытой головой внизу пролетающей стаи. А стая все летит и летит, и все сильнее и чаще падают от нее книзу гортанные звуки.

Этот крик имеет в себе что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тот не выносит этого крика, он ее разбередит. Убийцы Ивика, закопанного в лесу, вздрогнули при этих звуках и сами называли дела свои.

– Проститесь же лучше здесь, чем под вашей кровлей, – заговорил, проводя глазами журавлей, Ис-

томин. – Не думайте, что я неблагодарен. В благодарность вам я буду от вас очень далеко.

– А мой угол, хлеб и мой привет...

– Да, да, пусть они подождут меня...

Истомин почесал себя когтями по голой груди и добавил:

– Кончаю тем, что и за это не вправе обижаться, но только вот что: Каину угла-то ничьего не нужно... Прощайте, Бер, – вам здесь направо, а я пойду налево – таким манером, даст господь, мы друг другу на дороге не встретимся. Я, должно быть, уж не обойду вокруг света.

– Иди, – сказал ему спокойно Бер.

– Аминь – иди, пока споткнешься на свою могилу, – ответил ему Истомин и пошел влево.

Так они и расстались на этой дороге.

В доме Норков обо всем этом не знали ничего, но по-прежнему страшно боялись слова *новость*.

Глава двадцать третья

Наконец, чего долго ждешь, того иногда и дождешься: в дом Норков, как с неба, упала новость. Религиозное настроение Софьи Карловны так и приняло ее как посланницу неба, несмотря на то, что новость эту принес им полицейский городской Васильевского острова.

Городовой явился в магазин Норков перед вечером пятого мая и, застав здесь одну Иду, просил ее немедленно послать кого-нибудь в мертвецкий покой, чтобы «обознать» принадлежащее им *тело*, найденное у берега в Чекушах.

Ида побледнела. Вермана четвертый день не было дома, и новость эта могла касаться его непосредственно. Соваж первого мая отправился на екатерингофское гулянье и не мог встретить серьезных препятствий отыскаться на пятый день в виде *тела*, принадлежащего Норкам.

В это время Ида также припомнила странную историю, которую на другой день екатерингофского гулянья принесла домой Авдотья, ходившая навестить свою сестру в Чекуши.

В истории этой тоже был замешан черт, и притом замешан и скомпрометирован гораздо сильнее, чем в

святочной истории в Плау, потому что здесь он напал на людей нелегковерных и остался в дураках.

Дело было вот в чем: ночью с первого на второе мая очередные рыбаки на тонях, при свете белой ночи, видели, как кто-то страшный и издали немножко схожий с виду с человеком бросился с екатерингофского берега в Неву. Рыбаки, имеющие беспрестанные столкновения с водяными чертями, служащими по их департаменту, тотчас сообразили, что это ни более ни менее как одна из тысячи проделок потешающегося над ними дьявола, ибо человеку не могло прийти в голову попробовать переплыть Неву в этом месте. Пока рыбаки рассуждали, для какой бы цели было дьяволу морочить их таким образом, дьявол начал кряхтеть. По воде далеко было слышно, как он тяжело отдувался. Рыбаки отвернулись к гаванской церкви и стали молиться. Огорченный обращением их к храму, дьявол, чтобы увеличить соблазн, начал кричать человеческим голосом и звать себе на помощь. Рыбаки опустили в лодках на колени и стали молиться еще жарче. Как ни выбивался злой дух из последних сил своих, чтобы подмануть христианскую душу, это не удалось ему, потому что, хотя он и очень верно подражал человеческому голосу, но прежде чем рыбаки, глядя на гаванскую церковь, окончили ограждающую их молитву, на правом берегу в Чекушах пропел

полночный петух, и с его третьим криком и виденье и крики о помощи смолкли.

Третьего дня черт этот благополучнейшим образом был выкинут волнением на берег в тех же Чекушах и был отправлен в мертвецкий покой.

Быстро сочтав все эти обстоятельства в своем соображении, Ида, не говоря ни слова матери, бросилась к зятю. Шульц тотчас поехал и, возвратясь через полчаса, объявил, что утопленник действительно есть токарный подмастерье Герман Верман, которому на гроб и погребенье он, Шульц, оставил двадцать пять рублей, прося знакомого квартального доставить их пастору.

— А все-таки это страшная мерзопакость, — порешил Шульц. — На меня это так дурно подействовало, что я просто сам не свой теперь.

Шульц не любил первой беды, хотя бы она его обходила и издалека. Из наблюдений собственных, из старческих поверий, как и из слов великого Шекспира, Шульц состроил убеждение, что радости резвятся и порхают в одиночку, а «беды ходят толпами», и старушка-горе неспешлива.

Торопиться ей не нужно;
Посидеть с работой любит.

Тому, что «беды ходят толпами», верили, впрочем, все в семействе Норков, и потому, когда Шульц объявил, что по случаю этого несчастья он откладывает на неделю переход в свой новый дом, отстроенный на Среднем проспекте, то и Берта Ивановна и Софья Карловна это совершенно одобрили.

– Неприятно, чтоб это осталось воспоминанием в один и тот же день, – объявил Фридрих Фридрихович.

Берта Ивановна и madame Норк обе сказали то же самое.

Ида, правда, ничего не сказала, но это, вероятно, потому, что ее вообще очень мало занимал вопрос о новом доме зятя. Она стояла возле кресла матери, которая, расстроившись смертью Вермана, совсем распадалась, сидела спустя руки и квохтала, как исслабевшая на гнезде куриная наседка. Ида молча соединяла в небольшом стеклянном пузырьке немного выдохнувшуюся нашатырную соль с каким-то бесцветным спиртом. Она нюхала эту смесь, встряхивала ее, держа пузырек между большим и указательным пальцем правой руки, смотрела на нее, прищуря один глаз, на свет и, снова понюхав, опять принималась трясти снова.

– Стоит ли, сестра, возиться с этой дрянью? – проговорил ей Шульц.

Ида, не отвечая зятю, молча дала понюхать матери

спирту и, опустив склянку в карман, молча облокотилась на материно кресло.

– Сядь, Ида, – не люблю, когда ты стоишь надо мною, – произнесла старуха.

Ида села на первый ближайший стул. Старуха опять начала квохтать и водить по углам своими старческими глазами.

– Бедняжка, – заговорила она, – какая смерть-то страшная; теперь вода еще холодная... Мученье, бедненький, какое перенес... а? Идочка! я говорю, мученье-то какое – правда?

– Это, мама, одна минута.

– Ну, как одна минута! Как, право, ты все, Иденька, как-то так легкомысленно все любишь говорить! Кричал ведь он, говорят тебе, так это не минута.

Старуха опять заквохтала и, закашлявшись от поднесенного ей снова Идой спирта, слегка толкнула ее по руке и досадливо проговорила:

– Поди на место.

Старушка с самого отъезда Мани во все тяжелые минуты своей жизни позволяла себе капризничать с Идою, как иногда больной ребенок капризничает с нежно любимой матерью, отталкивая ее руку и потом молча притягивая ее к себе снова поближе.

– Не стар еще ведь был? – заговорила через минуту Софья Карловна. – А впрочем... пятьдесят четвертый

год...

– Что вы говорить изволите, маменька? – отозвался Шульц, быстро подходя к теще от окна, у которого стоял во время ее последних слов.

– Я говорю, что покойник-то... Он и в тот год, когда Иоганус умер, он так же закутился и переплыл сюда с гулянья... А нынче, верно, стар... Уж как хотите, а пятьдесят четвертый год... не молодость.

– Лета хорошие.

– Да, пожил.

– Другие не живут и этого.

Старуха засмутилась и тихо сказала:

– Ну, да; кутят всё.

Ида опустила глаза и пристально посмотрела на Шульца.

– Да, все кутил, кутил покойник. Я тридцать лет его уж знаю – все кутил.

– Неужто тридцать лет?

Ида опять пристальнее и еще с большим удивлением поглядела через плечо на зятя и обернулась к матери. Старушка провела рукою по руке, как будто она зябла, и опять тихим голосом отвечала:

– Что ж, тридцать лет! Да вон твоей жене теперь уж двадцать девять. Года мои считать немудрено: я в двадцать замуж шла, а к году родилась Бертинька, вот вам и все пятьдесят... А умирать еще не хочется... по-

ка не съезжу к Маньке. Теперь я уж к ней непременно поеду.

Шульцы ушли к себе довольно поздно; старуха оставила Иду спать на диване в своей комнате и несколько раз начинала беспокоиться уверять ее, что кто-то стучится. Ида раз пять вставала и ходила удостовериться.

– Нам велика, Иденька, двоим эта квартира, – старалась старушка заговаривать с дочерью, когда та возвращалась.

– Подумаем, мама, что сделать, – отвечала, укладываясь, Ида.

– Непременно надо подумать.

– Подумаем.

– И то... я, знаешь, Идочка, без шуток, право, в нынешнем году поеду к Мане.

– Что ж, мама, и прекрасно; поезжайте с богом.

– А то тоска мне.

– Да поезжайте, душка, поезжайте.

Старуха заснула.

Глава двадцать четвертая

Прошла неделя, Вермана схоронили; Шульц перебрался в свой дом, над воротами которого на мраморной белой доске было иссечено имя владельца и сочиненный им для себя герб. Шульц нигде не хлопотал об утверждении ему герба и не затруднялся особенно его избранием; он, как чисто русский человек, знал, что «у нас в Разсеи из этого просто», и изобразил себе муравейник с известной надписью голландского червонца: «Concordia res parvae crescunt».³⁹

У Фридриха Фридриховича переход в свой дом совершился со всякой торжественностью: утром у него был приходский православный священник, пел в зале молебен и служил водосвятие; потом священник взял в одну руку крест, а в другую кропило, а Фридрих Фридрихович поднял новую суповую чашу с освященной водою, и они вместе обошли весь дом, утверждая здание во имя отца, и сына, и святого духа.

В зале, когда священник разоблачился и стал благословлять подходящую прислугу, Шульц тоже испросил и себе его благословения и поцеловал его руку. Священник сконфузился.

³⁹ При согласии и малые дела вырастают (*лат.*).

– Батюшка! – проговорил Шульц. – Этого наш долг требует.

Священник хотел что-то отвечать, но Шульц предупредил его.

– Оно, конечно, это ни для меня и ни для вас не нужно; но это так долг повелевает.

Шульц пригнулся к уху священника и, слегка кося глазами на суетившуюся прислугу, добавил:

– Для них этот пример совсем необходимый.

Священник согласился.

– Основательно, весьма основательно, Фридрих Фридрихович, – ответил он Шульцу.

– Эх, батюшка, да зовите меня просто Федор Федорычем. Ведь это вшистско едно, цо конь, цо лошадь.

– Так-с, Федор Федорыч; так-с.

– Ну, так этому и оставаться.

Два дня происходила переноска мебели и установка хозяйской квартиры, на третий день вечером был назначен банкет. Берта Ивановна говорила, что банкет следует отложить, что она решительно не может так скоро устроиться, но Шульц пригнал целую роту мебельщиков, драпировщиков и официантов и объявил, чтоб завтра все непременно было готово.

– Ужасно это, ей-богу, у тебя все как вдруг, Фриц, – говорила, слегка морщась, Берта Ивановна.

– А вы вот лучше смотрите-ка, Берта Ивановна, как

бы мы с вами в новом доме не поссорились, – отвечал ей супруг, собственноручно приколачивая с обойщиком карнизы драпировок.

Берта Ивановна с этих пор не возражала уже мужу ни слова.

Банкет был громкий; были здесь все, кого знал Шульц и кто знал Шульца: старый хозяин, новые жильцы собственного дома, пастор, русский священник и три конторщика.

– У нас, батюшка, по-христиански – с чадами и домочадцы, – говорил Шульц, указывая священнику на жавшихся в уголке трех младших конторщиков, вступающих завтра в должность по новооткрываемой конторе.

Выпито было столько, что сам Шульц, поправляя потный хохол, шептал:

– Однако, черт возьми, мы, что называется, кажется, засветили!

Но тем не менее он, однако, опять наседавал на гостей с новой бутылкой и самыми убедительными доводами. Наливая стакан своему домовому доктору, который выразил опасение, не будет ли в новом доме сыро, – Шульц говорил:

– Это, Альберт Вильбальдович, сырость вытягивает.

Доктор отвечал:

– Но для здоровья – особенно у кого короткая шея... это...

Доктор лукаво погрозил Шульцу с улыбкою пальцем:

– Да; но иногда-то? иногда?

– Ну, иногда... да, это конечно! – заканчивал доктор.

Шульц напал на священника.

– Вино, батюшка, веселит сердце человека.

– До известной меры-с, Федор Федорыч, до известной меры, – отвечал священник.

– Ну, этого в писании не сказано.

– А, не сказано-с, но там зато сказано: «не упивайтесь, в нем бо...» – Священник кашлянул и договорил: – «в нем бо есть грех».

Шульц разрешил и это затруднение. Ударяя рукою по столу, он проговорил:

– Грех, батя, это пусть будет сам собою, а вы вот это выкушайте.

Священник отвечал: «Оно, конечно, – и, хлебнув вина, досказал, – не всегда все в своей совокупности».

На другой день после этого пира Шульц сидел вечером у тещи, вдвоем с старушкой в ее комнате, а Берта Ивановна с сестрою в магазине. Авдотья стояла, пригорюнясь и подпершись рукою, в коридоре: все было пасмурно и грустно.

– Я не знаю, право, Ида, что тебе такое; из-за чего

ты споришь? – говорила, глядя на сестру, Берта Ивановна.

– Я и не спору, – отвечала Ида.

– Мама этого хочет.

– А, мама хочет, так так и будет, как она хочет.

– Но неприятно, что ты делаешь это с неудовольствием.

– Это все равно, Берта.

– Ты, Ида, делаешься какая-то холодная.

Ида промолчала.

– Я знаю, что Фридрих добрый, родной, и он вас любит, и я люблю... не знаю, что тебе такое?

– Я верю этому, – отвечала Ида.

– Но что ж тебе такое? что тебе этого не хочется?

– Не хочется? – проговорила, вздохнувши, Ида. –

Не хочется мне, Берта, потому, что просторней жить – теснее дружба.

– Мы не поссоримся.

– И не поссорившись не всегда хорошо бывает.

– Да отчего же, Ида? отчего? ты расскажи.

– Неровные отношения.

– Мой господи, как будто мы чужие! Век целый прожили, всякий день видались: ведь все равно и так как вместе жили. Ты посуди, в самом деле, какая ж разница?

– Большая, Берта, разница. Жить порознь, хоть и

всякий день видеться, не то, что вместе жить. Надо очень много деликатности, Берта, чтобы жить вместе.

– Все у тебя, Ида, деликатность и деликатность; неужто уж и между родными все деликатность?

– С родными больше, чем с чужими.

– Не понимаю; Фриц, кажется, очень деликатный человек. Разве я чем-нибудь – так ты ведь мне прямо все говоришь.

– Вместе живя, Берта, нужна постоянная деликатность; пойми ты – *постоянная*: кто не привык к этому – это очень нелегко, Берта. Твой муж – он, говоришь ты, добрый, родной, – я против этого не скажу ни слова, но он, например, недавно говорил же при матери так, что она как будто стара уж.

– Господи, какие мелочи! Я бог знает как уверена, что он и не заметил этого.

– Мелочи! Я знаю, что это мелочи и что он даже не заметил, как это действует на маму, и я на него за это ни крошечки не сержусь. Понимаешь, это *теперь* ровно ничего не значило, кроме неловкости.

– А если бы вы жили у нас?

– А если бы мы жили у вас, и он бы сказал это, это была бы ужасная неделикатность. Ты не сердись – я не хочу неприятностей, – я говорю тебе, что он сказал это без умысла, но мне бы это показалось... могло бы показаться... что мать моя в тягость, что он решил

себе, что ей довольно жить; а это б было для меня ужасно.

– Я скажу это Фридриху.

– Сделай милость, скажи, – отвечала спокойно Ида.

Через минуту madame Норк позвала ее к себе. Девушка взошла и молча стала перед матерью. Софья Карловна взяла ее руки и сказала:

– Ну, как же, Ида?

– Как вам угодно, мама.

– Ты согласишься.

– Мама, я с вами всегда согласна.

– Да, согласишься. Где нам теперь искать другого подмастерья? Я старая, ты девушка... похлопотали... У нас свое есть – мы в тягость им не будем. Дай ручку – согласишься.

Ида подала матери руку.

– Ну, Берточка! – позвала старушка, – согласна – пусть будет так, как вы хотите с мужем.

Берта Ивановна опустила у материнского кресла на колени и, поцеловав ее руку, осталась в этом положении.

Madame Норк долго ласкала обеих дочерей и проговорила сквозь слезы:

– Вот и Манька моя будет рада, дурка, как узнает! Ида! я говорю, Манька-то наша: она как узнает, что мы вместе живем, – она обрадуется.

– Обрадуется, мама, – ответила Ида; проводив Шульцев, уложила старушку в постель, а сама до самого света просидела у ее изголовья.

Глава двадцать пятая

Фридрих Шульц сам взялся разверстать и покончить все дела тещи. На другой же день он явился к теще с двумя старшими детьми и с большим листом картона, на котором в собственной торговой конторе Фридриха Фридриховича было мастерски награвировано на русском и немецком языке:

«Токарное заведение, магазин и квартира передаются. Об условиях отнестись в контору негодцианта Шульца et C-nie, В. О., собственный дом на Среднем проспекте».

Шульц собственноручно поставил этот картон на окно, у которого обыкновенно помещалась за прилавком Ида. Далеко можно было читать эту вывеску и имя негодцианта Шульца. Впрочем, вывеска эта не принесла никакой пользы. Преемников госпоже Норк Шульц отыскал без помощи вывески и сам привел их к теще. Заведение, квартира, готовый товар и мебель – все было продано разом. Старушка удержала за собою только одну голубую мебель, к которой она привыкла.

– А вы, сестра, не оставите ли себе чего? – отозвался Шульц, надевая в магазине свою высокую негодциантскую шляпу.

– Нет, ничего, – отвечала Ида.

– Любимое что-нибудь?

– У меня вещей любимых нет.

– Фортепьян, Идочка, фортепьян-то себе оставь, – слышался из залы голос Софьи Карловны.

– Нет, мамочка, не надо, – отвечала, встрепенувшись, Ида.

– Оставь, дружок, – убеждала, выползая, старушка.

– Мама, да какая я музыкантша?

– Мне когда-нибудь вечером поиграешь; я люблю, когда ты играешь.

– Я вам на сестрином поиграю, когда прикажете, – отвечала, рассмеявшись, Ида.

– И то дело; есть у нас и своя этакая балалайка, – зарешил Шульц и отправился домой писать с преемником условие.

В этот же день Шульц, обогнав меня на своем гнедом рысаке, остановился и рассказал, что он перевозит свояченицу и тещу «в свою хату».

– Что ж им торомошиться-то больше? – рассуждал он. – Слава богу, есть своя изба, хоть плохенькая, да собственная, авось разместимся. – Он понизил голос до тона глубокой убедительности и заговорил: – Я ведь еще как строил, так это предвидел, и там, помилуйте, вы посмотрите ведь, как я для них устроил. Ведь не чужие ж в самом деле, да, наконец, у них ведь и свое есть.

– Есть разве?

– Ну да, еще бы! Тысяч восемь теперь всего-то наберется. Случись ведь что со старушкой, так ведь сестре на всем готовом и процентов истратить некуда. Да что: я вам скажу, еще дай бог всякому так кончить, как они.

Шульц крикнул кучеру: «Пошел!»

Вот уж и слово *кончить* применилось к тебе, дорогая Ида Ивановна! Вот и масштаб для тебя составлен и дорога твоя предусмотрена: непочатыми будут твои капиталы, и процентов тебе не прожить.

«Еще и всякому так дай бог кончить!»...

О боже! боже! как страшно и как холодно становится на свете живому человеку, когда сведешь его на этот узкий, узкий путь, размеренный масштабом теплого угла, кормленья и процентов! А еще и тебе скажут ближние твои: благо тебе, искренний, за не многим на земле и еще того хуже: за не у многих на земле нет ни угла, ни крова, ни капитала в кармане, ни капитала в голове, ни капитала в характере и в нраве. Но и чрез золото так точно льются слезы, как льются они и чрез лохмотья нищеты, и если поражает нас желтолицый голод и слеза унижения, текущая из глаз людей нищих духом, то, может быть, мы нашли бы еще более поражающего, опустясь в глубину могучих душ, молчащих вечно, душ, замкнутых в среде, где одина-

ковы почти на вид и сила и бессилье. Мы ужаснулись бы, глядя, как их гнетет и давит спящая их собственная сила; как их дух, ведун немой, томится и целый век все душит человека. Так Святогор, народный богатырь нашего эпоса, спит в железном гробе; накапливают на его гробе закрытом все новые обручи: душит-бьет Святогора его богатырский дух; хочет витязь кому б силу сдать, не берет никто; и все крепче спирается могучий дух, и все тяжелее он томит витязя, а железный гроб все качается.

Глава двадцать шестая

Я вечером зашел к Норкам. Ида Ивановна сидела одна в магазине, закрытая от окна не снятою еще вывескою о передаче магазина.

Подавая мне руку, она только молча кивнула головою.

Я сел в простенке, так что если бы кто подошел с улицы даже к самому окну, то меня ему все-таки не было бы видно.

Ида сама рассказала мне, что они прекращают торговлю и переселяются к Шульцу.

– Вы ведь, – спросил я, – нехотя это делаете, Ида Ивановна.

Девушка помолчала, сдвинула слегка брови и отвечала:

– Нет... все равно уж! Пусть будет как маме угодно.

– Ваш век, можно думать, длиннее Софьи Карловниного.

– Если мама умрет, я тогда поеду к Мане, – произнесла Ида скороговоркой и, быстро распахнув окно, добавила: – Фу, господи, как жарко!

Она высунула головку за окно, и мне кажется, она плакала, потому что когда она через минуту откинулась и снова села на стул, у нее на лбу были розовые

пятна.

– Фриц идет, – проговорила она, принимаясь за оставленную работу.

Я посмотрел в окно, никого не было видно.

– Он далеко еще, не увидите.

– А как же вы-то его увидели?

– Я не вижу его. – Ида улыбнулась и добавила: – Мой нос полицеймейстер, я его сигару слышу.

В эту минуту щелкнула калитка палисадника и под окном действительно явился Шульц.

Не знаю почему, я не поднялся, не заявил ему о своем присутствии, а остался вовсе не замечаемый им по-прежнему за простенком.

– Ну да, – начал Шульц, – я всегда говорил, что беды ходят толпами.

– Тише, – проговорила Ида.

Она встала, затворила дверь из магазина в комнаты и снова села на свое место.

– Что такое?

– Вот что, – начал Шульц, – Маня оставила мужа.

Ида вскочила и стала у шкафа. Шульц говорил голосом нервным и дрожащим.

– Мне вот что пишет муж ее. Не беспокойтесь давать мне свечки, я вам прочту и так, – и Шульц прочел холодное, строгое и сухое письмо Бера, начинавшееся словами: «На девятое письмо ваше имею честь

отвечать вам, что переписка между нами дело совершенно излишнее». Далее в письме было сказано, что «мы с Марией расстались, потому что я не хотел видеть ее ни в саване, ни в сумасшедшем доме». Известное нам дело было изложено самым коротким образом, и затем письмо непосредственно оканчивалось казенною фразой и крючковой подписью Бера.

– Как вам это нравится? – спросил Шульц, дочитывая письмо.

Ида молчала.

– Ведь этого не может быть! Ведь это вздор! все это выдумка!

– Не говорите только, пожалуйста, об этом матери.

– Да нечего и говорить... это невозможно!.. *das ist nicht möglich.*⁴⁰

– Конечно, – уронила Ида.

Шульц посмотрел в глаза свояченице и, черкнув по зажигательнице спичкой, сказал:

– Я думаю, однако, пеню время, а молитве час. Вы еще молоды, чтобы надо мною смеяться.

– А!.. Вот то-то б вам поменьше хлопотать! Да! да не *das ist nicht möglich*, а это *gewiss*, Herr Schuiz, *gewiss*...⁴¹ *вы* погубили нашу Маню.

– Покорно вас благодарю, – произнес с шипением

⁴⁰ Это невозможно (*нем.*).

⁴¹ Это невозможно... конечно, господин Шульц, конечно (*нем.*).

Шульц.

– Вы! вы! и вы! – послала ему в напутствие Ида, и с этими словами, с этим взрывом гнева она уронила на грудь голову, за нею уронила руки, вся пошатнулась набок всей своей стройной фигурой и заплакала целыми реками слез, ничего не видя, ничего не слыша и не сводя глаза с одной точки посередине пола.

Она плакала какими-то мертвыми, ледяными слезами. О таких слезах никто не рассказывал ни в одной истории, ни в одной сказке. Обыкновенно думают, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», как называют ее сказки и былины нашего эпоса. Усталый витязь, уснувший непробудным сном на коленях красавицы, которую он должен был защитить от вышедшего из моря чудовища, пробудился от одной слезы, павшей на его лицо из глаз девушки при виде вышедшего змея. Так горяча слеза молодой жизни, просящей защиты. Но есть еще другие, более страшные слезы, и хотя их нельзя назвать горючими, но они заставляют вас трепетать, когда текут по женским щекам.

Есть много известных женских лиц, трудясь над изображением которых даровитые художники представили этих женщин плачущими. Таковы известные изображения: нежной дочери короля Лира, *Корделии*; целомудренной римлянки *Лавинии*, дочери Тита Ан-

дроника; развенчанной *Марии Антуанетты* в минуту ее прощания с детьми; *Алиции Паули Монти*; *Орлеанской Девы*; св. *Марии Магдалины*, из русских – *Ксении Годуновой*, и, наконец, еще так изображена *Констанция*, вдова, устами которой Шекспир сказал красноречивейшее определение скорби. Изучая эти плачущие лица, вы чувствуете, что каждое из них плачет *своими слезами*, и даже как будто чувствуете температуру этих слез. *Корделия*, молящаяся за сумасшедшего отца; *Лавиния*, обесчещенная, с обрубленными руками; *Мария Антуанетта*, утопшая в крови и бедах; царица *Ксения Годунова*, эта благоуханная чистая роза, кинутая в развратную постель самозванца, и *Констанция*, научающая скорбь свою быть столь гордой, чтобы пришли к ней короли

Склониться пред величием тяжелой скорби,

все это женщины с различными скорбями. Пересчитав столько женских обликов, я, кажется, имею довольно большой выбор для сравнения; но как ни многоречивы эти прекрасные, высокохудожественные изображения, я ни перед одним не смел бы вам сказать: мне кажется, что Ида плакала вот так! Она плакала совсем иначе.

Еще одно женское лицо, также плачущее, останав-

ливаает на себе наше внимание в роскошном издании L'Abbé G. Darbois «Les femmes de la Bible». ⁴² Это высокая и стройная библейская красавица, которая стоит перед вами полуобнаженная: она плачет, только ступивши ногою с постели, ее стан едва лишь прикрыт ветхозаветною восточною рубашкой, то есть куском холста, завязанным под левою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая рука обнажены. Рука в запястьях, которые не были сняты ночью, висит, как стебель, левая, также нагая от самого локтя, держит упавшую голову. Из глаз тихо катятся холодные крупные слезы, и катятся как градины на раскаленную ниву. За этой фигурой вы видите двуспальную постель, часть смятого изголовья и больше ничего: все остальное закрывает пестрое восточное одеяло, которое женщина потянула, проснувшись, и, судорожно сжав его край, плачет ледяною слезою.

Я не знаю, беретесь ли вы отгадать, кто эта библейская женщина?.. Это дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара, которая семь раз всходила на брачное ложе и видела всех семерых мужей своих умершими и оставившими ее девой. Художник изобразил момент пробуждения ее в первую ночь седьмого брака: она уже не в испуге, не в ужасе и не в отчаянье. Ей не идет *горючая* слеза скорбей, живых еще хотя бы

⁴² Аббата Г. Дарбуа «Библейские женщины» (франц.).

надеждою, хотя б одним желаньем, переживающим надежду: у ней даже желаний нет. Она не ждет еще пришествия Тovia, который должен сжечь в ее опочивальне рыбе сердце: она одна теперь с умершей надеждой жить и с улетевшими желаньями; она застыла, и ее слезы падают оледенелыми.

Такова была, плачучи, Ида.

Глава двадцать седьмая

Глава вместо эпилога

С тех пор, как перед нами плакала Ида, до дня, в который вы прочтете эту повесть, минули не одна весна и не одно лето. В это время в трех прекрасных комнатах на антресолях в доме богатого негодяя Шульца умерла Софья Карловна Норк. В течение пяти лет, которые старушка провела у дочери и у зятя, ни она, ни Ида не имели ни малейшего основания пожалеть о том, что они оставили свое хозяйство. Шулец угождал матери и благоговел перед Идой. Старушка умерла от рака в желудке. Целый год ее томили голодом, чтобы удерживать развитие болезни и облегчить ей последний шаг в вечность. Софья Карловна сделалась младенцем.

– Идочка! – часто шептала она потихоньку, вскакивая на своей кроватке. – Дай ты мне, мой друг, немножко булочки.

– Мамочка, невозможно вам, голубчик, булочки! – отвечала Ида.

– Ну, с булавочную головку дай.

– Ну, стуйт ли, мама, с булавочную головку?

– Стуйт, мама моя, стуйт, – отвечала старушка, на-

зывая дочь своей матерью.

Ида будто не слыхала и начинала про себя читать или работать.

– Ну что ж, и бог с тобой, – говорила старушка. – Я все, бывало, видела во сне, как тебя носила, что ты меня кормишь, – а ты не хочешь, ну и бог с тобой; стало быть, это неправда.

Ида не выдерживала и давала матери кусочек с гороховину.

– Да я не хочу из твоих рук, – хитрила старушка. – Что ты мне не веришь! Я не дитя. Ты дай мне, я и сама отломлю.

Ида знала, чем это кончится, но подавала матери ломтик, и Софья Карловна скоро, скоро выколупывала дрожащими пальцами мякиш, совала его себе в рот и, махая руками, шептала: «убери! убери поскорей, убери, а то сестра придет!»

День ото дня старушка все более и более уподоблялась младенцу невинному и по-прежнему все хитрила с Идой, подговариваясь то под кофе, то под бисквиты, которые она будто видела во сне.

– Мама, вам этого не снилось, – отвечала Ида.

– Как не снилось! Вот новости! Как это не снилось?

– Не снилось, мама, не снилось, потому что вам этого невозможно.

– Да! невозможно, а все-таки снится, – отвечала,

обижаясь и отстаивая свою хитрость, Софья Карловна.

Наконец дни Софьи Карловны были сочтены, и загорелась ее последняя заря. Дети знали это от доктора, но старушка не знала своего положения.

– Мне, Идочка, сегодня снилось, – говорила, – будто мне можно полчашки кофею.

– Можно, мама, – отвечала Ида.

– Можно? – переспросила изумленная старушка и, посмотревши с упрекам на дочь, горько заплакала.

– Подать вам, мама?

– Нет, нет, не надобно, не надобно... Мне это вредно, – отвечала Софья Карловна и закрыла свои прозрачные веки, тонкие, как перепонки крыла летучей мыши. Из-под этих век выдавились и остановились в углах две тощие слезинки.

– Почитай, – попросила она дочь.

На небе садился ранний зимний вечер с одним из тех странных закатов, которые можно видеть в северных широтах зимою, – закат желтый, как отблеск янтаря, и сухой. По этому янтарному фону, снизу, от краев горизонта, клубится словно дым курений, возносящийся к таинственному престолу, сокрытому этим удивительным светом.

С антресолей Шульца, если сидеть в глубине комнат, не видно было черты горизонта, и потом, когда

загораются зимою над Петербургом такая янтарно-огненная заря, отсюда не видать теней, которые туманными рубцами начинают врезываться снизу поперек янтарной зари и задвигают, словно гигантскими заставками, эту гигантскую дверь на усыпающее небо.

Такая заря горела, когда Ида взяла с этажерки свою библию. Одна самая нижняя полоса уже вдвигалась в янтарный фон по красной черте горизонта. Эта полоса была похожа цветом на полосу докрасна накалиленного чугуна. Через несколько минут она должна была остывать, синеть и, наконец, сравняться с темным фоном самого неба.

Ида знала эту доску, знала, что за нею несколько выше скоро выдвинется другая, потом третья, и каждая будет выдвигаться одна после другой, и каждая будет, то целыми тонами, то полутонами светлей нижней, и, наконец, на самом верху, вслед за полосами, подобными прозрачному розовому крепу, на мгновение сверкнет самая странная – белая, словно стальная пружина, только что нагретая в белокалильном пламени, и когда она явится, то все эти доски вдруг сдвинутся, как легкие дощечки зеленых жалюзи в окне опочивального покоя, и плотно закроются двери в небо.

Евреи верят, что небо запирается каждый вечер, и если вы хотите, то вы можете видеть, как это произво-

дится невидимыми руками, задвигающими зорю и повертывающими последнюю пружину этих задвижек.

При такой заре, покуда не забрана половина обли того янтарем неба, в комнатах Иды и ее матери держится очень странное освещение – оно не угнетает, как белая ночь, и не радует, как свет, падающий лучом из-за тучи, а оно приносит с собою что-то фантазмагорическое: при этом освещении изменяются цвета и положения всех окружающих вас предметов: лежащая на столе головная щетка оживает, скидывается черепахой и шевелит своей головкой; у старого жасмина вырастают вместо листьев голубиные перья; по лицу сидящего против вас человека протягиваются длинные, тонкие, фосфорические блики, и хорошо знакомые вам глаза светят совсем не тем блеском, который всегда вы в них видели.

То же самое происходит в это время с вашим лицом и со всеми лицами, которые будут освещены этим светом.

Ида знала всю прихотливость этого освещения; любясь его причудами, она посмотрела вокруг себя на стены, на цветы, на картины, на Манин портрет, на усаживавшуюся на жердочке канарейку: все было странно – все преображалось. Ида оглянулась на мать: лицо Софьи Карловны, лежавшей с закрытыми веками, было словно освещенный трафарет, на кото-

ром прорезаны линии лба, носа, губ, а остальное все темно.

Девушка открыла вечную книгу на том месте, где в ней лежала широкая матовая голубая лента, и вечная книга приготовилась рассказывать своим торжественно простым языком свои удивительные повести.

«Упал, погрязая во зле, народ Израилев до того, что не было мужа, способного спасти его, и возопили сыны Израилевы ко Господу, – начала читать Ида.

И была в то время судьей Израиля Девора-пророчица, жена Лапидофова.

Она жила под пальмою Девориною, между Раммою и Вифелем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыновья Израилевы на суд.

И призвала Девора Варака и сказала ему: повелевает тебе Иегова: возьми десять тысяч мужей, а я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, врага народа моего, и колесницы его, и многолюдное войско его и предам их в руки твои.

Варак же сказал ей: если *ты* пойдешь со мною, я пойду; а если не пойдешь со мною, я не пойду.

И сказала Девора: хорошо, пойду с тобой, но не тебе будет слава на сем пути, а в руки женщины предаст Господь врага народа своего.

И встала Девора и пошла с Бараком в Кедош».

Проходит шум битвы; убитый Сисара лежит, лежит

с ним и все его войско, а Девора опять стоит под своею пальмою, и Варак у ног ее, и поет Девора:

«Слышите, цари, внимлите, вельможи: я пою, я бряцаю Иегове-Богу, перед которым, когда шел он, земля тряслась, небо капало, горы растаявали, и облака проливали воду.

Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах, пойте песнь.

Не было вождей у Израиля, ни одного не было, пока не восстала я, Девора, пока не восстала я, мать народа моего».

Бряцает Девора, стоя под пальмою Девориною между Раммою и Вифелем, и поет долгую песнь Иегове сердце и ум пророчицы, видя восставшую доблесть народа своего. И на том же самом месте, где списана песня Деворы, вечная книга уже начинает новую повесть: тут не десять тысяч мужей боятся идти и зовут с собою женщину, а горсть в три сотни человек идет и гонит несметный стан врагов своих. И как это сделано! и как это рассказано в вечной книге! Оживляется Ида, читая об этом страшном подходе героев с светильниками, опущенными в глиняные кувшины; тише дышит больная старушка, в сотый раз слушающая эту историю, и поворачивает к свету свое лицо; и ныне, как в детстве, она ждет, когда разлетится в черепья кувшин Гедеонов, и за ним треснут другие кув-

шины, и разольется во тьме полуночи свет, в них скрытый... И вот это свершилось... звеня разлетелись кувшины, и идет облако света во тьме. О, как чуден сегодня этот свет светильника, долго бывшего заключенным в глиняном сосуде; каким блистаньем покоя осенил он мать сестер Норков. Да; это сам, «одеянный светом, как ризою», стал у ее изголовья и назвал ее душу, и душа спросила его: «Как имя твое?», но он ответил ей, что ответил видевшему его лицом к лицу Иакову, – он сказал ей: «что тебе в имени моем? оно чудно».

В комнате вовсе стемнело; Ида свернула книгу, положила ее на прежнее место и, опершись локтем о подоконник, отдыхала глазами на густевшем закате.

Уже почти все звенья янтарных дверей были забраны, и в ярких просветах между темных полос клубились легкие струйки тумана. Густой массой сначала мнутся они внизу, потом быстро несутся кверху, как легкие тени в длинных одеждах, и исчезают вверху, где смыкается небо.

«Да, закрывается небо, и отошедшие души спешат, чтоб не скитаться до утра у запертой двери», – подумала Ида и с этой мыслью невольно вздрогнула: ей показалось, что в это мгновение ее тихая мать тоже стоит у порога той двери, откуда блистает фантастический свет янтаря, догорев над полуночным краем.

Это так и было: Софья Карловна умерла во время Идиного чтения – умерла счастливо, покушав долго снившейся ей булочки, слушая чудную повесть, которую читал для нее милый голос, и сохраняя во всей свежести вчера принесенную Шульцем новость о Мане.

Вчера Фридрих Фридрихович прочел в «Allgemeine Zeitung»⁴³ статью, посвященную разбору детской книжки путешествий, написанной путешественницей Марией Норк. О самой путешественнице и до сих пор нет очень подробных известий, но книга говорит за нее, где она была и какими очами на все смотрела. Это было событие, давшее много чистых и теплых минут семейству Шульца и особенно Иде и ее матери. Вероятно, не менее радостей принесла эта книжка одинокому Беру, так горячо хлопотавшему «поднять душу живую».

Одного Истомина она могла бы потревожить. Эта радостная новость, может быть, опять взлетала бы над ним Ивиковыми журавлями и, напомнив ему отринутое счастье, заставила бы задрожать за неузнатую Денман. Но Истомин давно куда-то бесследно исчез и, наверное, никогда об этом не узнает.

Фридрих Фридрихович и сегодня такой же русский человек, каким почитал себя целую жизнь. Даже сего-

⁴³ «Всеобщая газета» (нем.).

дня, может быть, больше, чем прежде: он выписывает «Московские ведомости», очень сердит на поляков, сочувствует русским в Галиции, трунит над гельсингфорсскими шведами, участвовал в подарке Комиссарову и говорил две речи американцам. В театры он ездит, только когда дают Островского.

– Ужасно люблю этих канальев-самодуров, – говорит он жене. – Как ты думаешь, Берта Ивановна, отчего бы это у меня вкус такой?

Берта Ивановна на это ему ничего не отвечает.

– Оттого, может быть, Фриц, что вы сами... – шутя говорит за сестру Ида.

– Что-с? оттого, что я сам самодур, вы это хотите сказать, Ида?

– Да.

– В самой вещи?

– Так – немножечко.

Фридрих Фридрихович задумывается и, нимало не обижаясь, отвечает:

– Что ж, очень может быть, что вы и правы, потому, матушка сестрица, что я от мира не прочь и на мир не челобитчик.

Берта Ивановна вся в муже, в вязанье и в хозяйстве. Иду Норк вы, если хотите, можете видеть, даже не будучи знакомым с Фридрихом Шульцем. Дом Шульца отыскать нетрудно, а необыкновенно чистые,

большие окна одной половины первого этажа, завешенные дорогими гардинами, укажут вам собственное помещение хозяйского семейства. В эти светлые окна видна вся внутренность просторных покоев неогцианта, и особенно видна огромная светлая зала, в углах которой красуются две довольно дорогие гипсовые статуи новгородского мужика и бабы, которых со дня перенесения их сюда с художественной выставки Фридрих Фридрихович назвал Иваном Коломенским и Марьей Коломенской. Летом у среднего окна залы, на спокойном кресле, перед опрятным рабочим столиком, почти всегда сидит молодая женщина, которой нынче уже лет за тридцать. На белой шее, плечах и груди у нее уже слегка образуется полнота; но она еще очень грациозна и необыкновенно мила: строгое платье ее сделано прекрасно, фигура стройна, пепельные волосы ложатся по плечам длинными локонами. Это Ида Норк. Наружно она только пополнела, сильный подбородок ее немножко еще приподнялся, да она переменила прежнюю простую прическу на более сложную. В тот день, когда она шутя завила себе в первый раз локоны и вышла так к чаю, сестра ее и Фридрих Фридрихович невольно вскрикнули, а дети бросились за кресло Берты Ивановны и шептали:

– Бабушка! бабушка!

– Я так теперь и останусь бабушкой, – отвечала ве-

село Ида.

И она так и осталась с прекрасными локонами, которые еще не скоро поседеют, чтобы довести сходство Иды с матерью до неразделимого подобия.

Около Иды всегда кругом дети, и они ей не мешают, потому что в них-то и ожили снова ее глубокие симпатии.

Зимою, когда дни коротки и сумрачны, вам удобнее рассмотреть Иду Ивановну вечером. Фридрих Фридрихович, возвратясь в эту пору с биржи домой и плотно пообедав, а потом поцеловав руки жены и свояченицы, обыкновенно отправляется всхрапнуть на мягком диване в жениной спальне. В это время по-прежнему красивая, хотя сильно располневшая Берта Ивановна расхаживает на цыпочках по столовой и охраняет мужнино спокойствие, а в зале, в огромном изящном камине работы Сан-Галли, стараниями детей разводится яркое пламя. К этому огню прикатывается большое, стальное, качающееся кресло: на нем садится Ида. Около нее целая детская группа: один у нее лежит на коленях и весело греется; старшие трое теснятся у тетких плеч и с жадностью ловят ее каждое слово, а пятый, кудрявый мальчишка по пятому году, постоянно любит дремать, как котенок, у нее за спиною.

Долго пылает этот приветный огонь, и долго и плав-

но текут перед ним живые беседы. Картина бывает такая прекрасная и внушающая, что на нее поневоле засматривается и деловой человек с наморщенным лбом, поспешающий к делу на истерзанной кляче петербургского ваньки, и веселая компания, отправляющаяся на нанятой в складчину тройке, чтобы убить где-то и время и деньги, и пешеход, тихо плетущийся к своей одинокой каморке. Пешеход даже часто останавливается здесь, перед окнами Шульцевой залы, и иногда в темный вечер их столкнется здесь и двое и трое: тот – из Уфы, другой – из Киева, а третий – из дальней Тюмени, и каждый, стоя здесь, на этом тротуаре, переживает хотя одну из тех минут, когда собственная душа его была младенчески чиста и раскрывалась для восприятия благого слова, как чашечка ландыша раскрывается зарею для принятия капли питающей росы.

И долго, долго иной раз застоится здесь, забывшись, мой прохожий и потом, закрывшись воротником, зашагает, выглядывая одним глазом, как Оден северной саги, потерявший свой другой глаз при покушении украсть меду поэзии у Гунледа.

Не нянькины сказки, а полные смысла прямого ведутся у Иды беседы. Читает она здесь из Плутарха про великих людей; говорит она детям о матери

Вольфганга Гете; читает им Смайльса «Self-Help»⁴⁴ – книгу, убеждающую человека «самому себе помогать»; читает и про тебя, кроткая Руфь, обретшая себе, ради достоинств души своей, отчизну в земле чуждой.

И крепнет детский дух в этих беседах, и, как шептун-трава, тихо растут и вырастают в них и решимость и воля, и воспитывается то, что далекий потомок, может быть, условится называть в человеке прямою добродетелью гражданина.

Но не слышать этих бесед Иды за окнами Шульцева дома, и проносящиеся мимо этих окон сами себе надоевшие праздные, скучные люди и молчаливо бредущий прохожий слышат и понимают из них не более, чем каменный коломенский Иван и его расплывшаяся Марья, истуканами стоящие в зале, где василеостровская Ида своим незримым рукоположением низводит наследственную благодать духа на детей василеостровского Шульца.

Впервые опубликовано – журнал «Отечественные записки», 1866.

⁴⁴ «Самопомощь» (англ.)